

**В**оенные  
**П**риключения

# ЭКСПАНСИЯ-2



**ЮЛИАН СЕМЕНОВ**

Штирлиц

Юлиан Семенов

**Экспансия-2**

«ВЕЧЕ»

1984

**Семенов Ю. С.**

Экспансия-2 / Ю. С. Семенов — «ВЕЧЕ», 1984 — (Штирлиц)

ISBN 978-5-4484-7895-6

Издательство «Вече» в рамках популярной серии «Военные приключения» представляет новый проект по произведениям известного русского писателя Юлиана Семенова — полный рассказ о жизни и опасной работе легендарного литературного героя-разведчика Исаева-Штирлица. Роман Юлиана Семенова «Экспансия-2» является продолжением романа «Экспансия-1», где вновь полковник Максим Максимович Исаев (Штирлиц) безукоризненно справляется с проведением сложнейшей операции по разоблачению планов нацистов. Действие происходит в конце 1940-х годов в Испании и Аргентине.

ISBN 978-5-4484-7895-6

© Семенов Ю. С., 1984

© ВЕЧЕ, 1984

## Содержание

Майкл Сэмэл. (Лондон, ноябрь сорок шестого)	6
Штирлиц. (рейс Мадрид – Буэнос-Айрес, ноябрь сорок шестого)	10
Роумэн. (Мадрид, ноябрь сорок шестого)	18
Штирлиц. (рейс Мадрид – Буэнос-Айрес, ноябрь сорок шестого)	26
Роумэн. (Мадрид, ноябрь сорок шестого)	35
Риктер, Кавиола. (Аргентина, сорок шестой)	44
Штирлиц. (рейс Мадрид – Южная Америка, ноябрь сорок шестого)	49
Информация к размышлению. (ИТТ, сорок второй – сорок пятый)	56
Роумэн. (Мадрид, ноябрь сорок шестого)	66
Мюллер. (Аргентина, март сорок шестого)	75
Штирлиц. (Латинская Америка, ноябрь сорок шестого)	85
Информация к размышлению. (Хуан Доминго Перон и Ева Дуарте)	92
Конец ознакомительного фрагмента.	94

# **Юлиан Семенов**

## **Экспансия-2**

© Семенов Ю. С., наследники, 2007

© ООО «Издательство «Вече», 2007

© ООО «Издательство «Вече», электронная версия, 2019

## Майкл Сэмэл. (Лондон, ноябрь сорок шестого)

– Вот, посмотрите хорошенько фотографии, – сказал человек, сидевший напротив Сэмэла в маленьком ресторанчике на Чаринг-кросс роад. – Это он. Здесь этот господин снят в профиль, в штатском, видите, с летчиками эскадрильи «Кондор»? Это и есть мистер Штиблиц... Или Штиблиц... Я не отвечаю за точность написания его фамилии... Здесь его фото в Португалии... Кстати, вам знаком человек рядом с ним, который смотрит на Эсторил?..

– Нет.

– Это Шелленберг, шеф политической разведки рейха, непосредственный босс Штиблица...

– Когда он бывал в Португалии?

– До войны. Или в самом начале. Это вам предстоит уточнить, мистер Сэмэл. Вам, а не мне. А вот наш знакомый в Берлине, в сорок четвертом, тут он в форме, видите? А эта фотография сделана швейцарскими службами на границе, в сорок пятом. Тогда он был Бользеном. Видимо, если вас заинтересует эта тема, целесообразнее всего подавать его именно под этим именем, тогда будут вовлечены швейцарцы. Их подтверждение – добейся вы официального запроса властей – крайне ценно для дела поиска этого господина со свастикой... Ну и, наконец, вот его последнее фото, сделано в Мадриде, месяц назад. Это все, что я имею, мистер Сэмэл.

– Материал в высшей степени интересен. Благодарю вас. Как вас зовут?

– Скажем, мистер Вестминстер. Или сэр Эдвард. Называйте, как угодно, я не буду возражать.

– Признаться, я не очень-то люблю людей, скрывающих подлинное имя, особенно когда они безвозмездно передают «жареный» материал... За публикацию несу ответственность я, сэр Эдвард.

– Чем может грозить вам опубликование фальшивки?

– Увольнением. Судебным процессом, если я ошельмовал честного человека...

– Вот видите, мистер Сэмэл... А мне грозит смерть... Не только мне, но и моей семье, если вы сошлетесь на меня, потому что я теперь живу в Австрии, но раньше, при Гитлере, сидел в Освенциме... – Человек задрал рукав: – Видите татуировку? Это мой номер в концлагере. Не думайте, что с нацистами покончено, мистер Сэмэл. Они затаились. Но они умеют мстить. Вы их не знаете. Я – знаю...

– Почему вы обратились в мою газету?

– Я обратился не в газету, а к вам.

– Странно. Я ведь не имею имени... Я не так давно начал, я еще не сделался «звездой», сэр Эдвард.

– Поэтому я к вам и обратился. А главное, я знаю, что у вас нет семьи. Вы одиноки, мистер Сэмэл, поэтому можете рисковать. Это и побудило меня обратиться к вам... Вот еще, – он достал что-то из кармана поношенного, но тщательно выутюженного серого пальто (сшито в талию, по фасону конца тридцатых годов – широкие лацканы, карманчик, воротник черного бархата, тоже потерт, но явно не куплено, а заказано у очень хорошего портного), – я вам и это оставляю, здесь несколько страничек из архива, связанного с деятельностью Бользена. У наци был прекрасно поставлен учет документов...

– Кто вы по национальности?

– Австриец. Или натурализовавшийся американец – на выбор.

– Хорошо, я поставлю вопрос иначе: ваше вероисповедание?

– Я католик, мистер Сэмэл... Не думайте, что обижусь, если вы откажетесь работать с этим материалом. Я буду искать другого журналиста, и я его найду, обещаю вам... Обидно

только, если я потеряю время: этот Бользен почувствовал, что петля затягивается, и начал действовать. Я не знаю, в Мадриде ли он сейчас...

– Почему он должен был почувствовать петлю?

– Потому что... Да вы посмотрите архив, поймете... Начали **крутить** конкретные дела: убийство некоего Вальтера Рубенау и госпожи Дагмар Фрайтаг...

– Кто именно начал крутить эти дела?

– Мы, мистер Сэмэл, мы, антифашисты.

Сэмэл прочитал пять страниц, сколотых аккуратной маленькой скрепкой. «Похоже, – подумал он, – удача сама плывет в руки, зачем же отталкивать ее?»

– Я могу получить ваш адрес? Телефон?

Человек покачал головой:

– Достаточно того, что у меня есть ваш телефон и адрес. В случае надобности я окажусь рядом.

«Номер его лагерной татуировки – 962412, – подумал Сэмэл, в крайнем случае, можно будет выяснить имя. Он прав, отчетность у наци была отменной... Он мог прийти ко мне еще и потому, что я опубликовал три материала о Рудольфе Гессе и о них заговорили на Флит-стрит... Он прав, когда говорит о силе наци: все-таки Борман исчез, да и смерть Гитлера еще надо доказать, не зря же “Мэйл” печатала сообщение, что фюрер скрылся на подводной лодке, причем якобы плыл через Ирландию...»

– Если этот материал опубликуют, – сказал наконец Сэмэл, постучав пальцем по страничкам, – и он будет хорошо принят читателем, я должен буду продолжать поиск. А где я получу дополнительные архивные материалы про нацистов? Риск – риском, я готов на риск, но, перед тем как начнешь играть втемную, надо все тщательно взвесить. Вы отказываетесь назвать свой адрес, я публикую этот материал, читатели запросят продолжения, а что я отвечу?

– Ответите, что идете по следу, – усмехнулся человек. – Почему бы нет? А я буду рядом... Я в этом больше заинтересован, чем вы, поверьте.

– Если бы вы назвали какого-то третьего человека... Нет, нет, это не форма гарантии, которую я прошу... Просто в случае успеха материала я бы обратился к этому третьему и сказал, что хочу вести эту тему и впредь...

– Адрес третьего человека? Что ж, об этом можно подумать. Очень вероятно, что я дам положительный ответ... То есть наверняка я дам положительный ответ: в том случае, конечно, если этот материал, – он ткнул тонким пальцем в фотографии Штирлица, лежавшие на дубовом столике, – прозвучит так, как ему надлежит прозвучать... Я дам вам адрес и телефон вдовы Вальтера Рубенау. Вас это устроит?

– Пожалуй.

– Ну вот и договорились.

...Сэмэл проснулся поздно; солнце било в глаза сквозь жалюзи, веселое, как щенок. Год назад он купил маленькую дворняжку с глазами персидской княжны. Умна, дрессировку брала с лета: стоило Майклу показать ей, как надо прыгать через скакалку, Нелли (он дал ей это странное имя) сразу же повторила его движение – с такой можно в цирк.

Перед тем как идти в редакцию с готовым материалом о Бользене, он завез Нелли маме: собака не переносила одиночества, скулила; когда он возвращался, бежала ему навстречу, забрасывая зад, словно грузовик с плохо отрегулированным развалом колес; только в этом и проявлялась ее непородистость. Вообще-то, глупое слово в приложении к собакам; породистые колли жрут своих стареньких хозяек, когда те отдают богу душу, – очень «породисто», ничего не скажешь.

Сэмэл сладко потянулся, зевнул; подумал о том, что сегодня, если газета с его статьей хорошо разойдется в розницу, можно сесть за книгу; правда, чем больше он входил во вкус

репортерской работы, тем меньше оставалось времени на литературу. Все-таки главное дело засасывает, газетная общность навязывает свой ритм жизни, и, что ни говори, он прекрасен: в редакции за чашкой кофе, среди грохота пишущих машинок, бормотания телетайпов, в общении с коллегами ощущаешь всю нужную малость этого тревожного мира и свою высокую перед ним ответственность.

Сэмэл поднялся с тахты, не надевая трусов (спал голым), прошел на кухню, посмотрел, что осталось в холодильнике: не густо – пяток яиц, чуть-чуть масла, ломтик ветчины; на завтрак хватит; надо бы успеть купить продуктов на неделю, пока не закрыли магазины; присел к столу, открыл потрепанный блокнот, в который записывал хозяйственные траты, посчитал, сколько придется истратить на тушенку, яичный порошок, пять упаковок сыра, пачку кофе, масло и три ломтика ветчины. Покачал головой и начал считать наново – слишком большая трата; ограничился тремя упаковками сыра и ломтиком ветчины; вместо тушенки решил взять дешевые куриные потроха: после крепкой выпивки горячий бульон – истинное спасение. Надо бы проверить печень, сосет под ложечкой; нет ничего важнее печени – «котел организма», точнее не скажешь.

Потом он пустил чуть теплую воду, забрался в ванну и десять минут блаженствовал; вспомнил давешнего собеседника. Интересный старик. В наше время колоритных людей мало, идет какая-то штампованная продукция, а не люди. Отчего так? Говорят, раньше в газете значительно быстрее замечали одаренных репортеров, ждали их публикаций; теперь ждут кратких сообщений, как одета Джоан – диктор второй программы радиослужбы Би-би-си; не очень-то даже и вслушиваются в то, что она читает; только когда дают динамику роста доллара и соответственно падения фунта, кончают болтать, пить чай или мыть посуду: деньги есть деньги – жизнь, говоря точнее. Все-таки радио убивает журналистику; оно открывает дверь в любой дом ногой, снисходительно и властно, причем особых усилий на это и не затрачивает; материалы читают серые, слова нет, чистая фиксация фактов. А тут, в газете, надо вертеться пропеллером, чтобы найти изюминку. О сенсации и говорить нечего, это стало редкостью. Статьи об «угрозе Кремля», о стычках католиков с полицией, о ситуации в Греции стали бытом, к этим трафаретам уже привыкли, своих забот хватает; люди все больше и больше интересуются тем, что происходит на Острове, слишком много нерешенных проблем.

Поэтому-то Сэмэл так искал сенсационные материалы, паблисити для журналиста прежде всего: знакомился с замшелыми историками, которые рассказывали забытые страницы биографий писателей, художников и актеров. Кстати, про художников читают меньше, особенно интересуются актерами, потому, видимо, что каждый человек в душе актер; все мы играем дюжину ролей одновременно, поди иначе проживи, вмиг сомнут.

Сэмэл вылез из ванны, докрасна растерся жестким полотенцем, потом вернулся на кухню, включил плиту, поставил сковородку, разболтал в воде яйца, сделал омлет, заварил кофе и включил радио; он называл его «мусоропроводом», держал на кухне, на подоконнике. Вспомнился отчего-то диск русского певца Вертинского – совсем недавно поступил в продажу в цикле «Голоса минувшего». Там была прекрасная песня «Как хорошо проснуться одному в холостяцкой постели». «Действительно, – подумал Сэмэл, – всего одна строка, а сколько в ней высокого смысла. Бедная мама, она мечтает, чтобы я женился. А я не женюсь, ни в коем случае не женюсь. Я не смогу тогда сидеть на кухне голым и мечтать, о чем хочется; я должен буду гнать самого себя с утра и до вечера – еще бы, семья. Конечно, я люблю мамочку, но какая мука сидеть у нее в гостях и выслушивать ее советы; старики все-таки несносны, живут своими представлениями, считают нас детьми, несмышленишками. То же самое ждет и меня, если я женюсь и заведу оболтуса. Он, так же как и я, будет придумывать отговорки, только бы не прийти ко мне вечером и не выслушивать мои сентенции; воистину, все возвращается на круги своя. Лучше заведу еще двух собак, если почувствую себя старым; что может быть прекраснее Нелли? Никогда не предаст, не человек ведь. И никаких претензий – накорми и выгулай, всего

лишь. Одиночество? Я не знаю, что это такое. Во мне живут двадцать разных людей, поди управься с ними. Одиночество страшно для глупых, слабых или больных. А жить больному ни к чему. Десять таблеток снотворного – и никаких мучений. При всех издержках середины века именно эта пора учит кардинальности решений. Как это говорят на Востоке? “Страшно умирать лишь тому, кто за всю жизнь не посадил дерева”. Все-таки на Востоке думают совершенно особенно, очень емко и афористично».

Сэмэл подчистил сковородку корочкой горячего хлеба, выпил кофе и, вернувшись в комнату, набрал телефон редакции. «Сегодня дежурит Бен, циник и пьяница. Циники – умные люди: никаких условностей, все обговорено с самого начала, самая удобная позиция; только отчего-то люди бегут именно ее, сочиняют условности, в которых сами же потом путаются и клянут их на чем свет стоит. Какая все же глупость – наша жизнь, сколь она несовершенна, а мы уже и в небо забрались, хотя здесь, на земле, ничего толком так и не решили».

– Бен, привет, это я.

– Хорошо, что позвонил.

– Что-нибудь случилось?

– Ничего особенного, кроме того, что твой репортаж оказался гвоздем, газеты раскуплены, даем дополнительный тираж.

– Да ну?!

– Именно так, малыш, именно так.

– Слушай, я сейчас приеду, а?

– Ты лучше не приезжай, Майкл. Ты лучше садись за продолжение. Поверь неудачнику от журналистики: если ухватил тему – не слезай с нее до конца! Садись и пиши, понял?

– Понял, – ответил Сэмэл и, положив трубку, подумал: «Я бы с радостью сел за продолжение, но ведь у меня больше ничего нет. Черт, зачем я не оседлал этого самого сэра Эдварда, или мистера Вестминстера?!»

Незнакомец, однако, позвонил ночью, поздравил с удачей, продиктовал адрес миссис Рубенау в Швейцарии, пояснив: «Это совсем недалеко от Лозанны, сказочной красоты место. Женщина осторожна, не спугните ее. Обязательно возьмите с собой газету, несколько экземпляров, она вам будет признательна. Только не передавайте ей то, что скажу вам я: мистер Бользен, видимо, в ближайшее время объявится в Аргентине, скорее всего – в провинции Мисьонес, на границе с Бразилией. Возможно, какое-то время он пробудет в Асунсьоне, Парагвай. Я поставлю вас об этом в известность, когда вы вернетесь от миссис Рубенау. До свиданья, желаю вам удачи! Убежден, что ваш новый материал вызовет еще больший интерес, чем первый».

...Аппарат Гелена озаботился тем, чтобы газета с материалом Майкла Сэмэла сразу же ушла в Аргентину, Парагвай и Чили – по нужным адресам; так угодно комбинации.

В том, что этим материалом займется британская разведка, Гелен не сомневался: на фото, опубликованном в газете, Штирлиц был сфотографирован вместе с Шелленбергом. Надо подготовиться к возможному контакту с английской службой.

Но Гелен никак не мог предположить, что более всего этой статьей заинтересуется сеньор Рикардо Блум, он же бывший группенфюрер СС Генрих Мюллер.

## Штирлиц. (рейс Мадрид – Буэнос-Айрес, ноябрь сорок шестого)

Прижавшись лбом к иллюминатору, Штирлиц смотрел на огни ночного Мадрида. «Словно пригоршня звезд, упавших на землю, – подумал он, – только в небе звезды таят в себе постоянную напряженность дрожания, а эти, земные, неподвижны, и цвет их разный: голубые, желтоватые, тускло-серые, мертвенно-белые – бутафория. То, что есть жизнь на земле – освещение улиц, свет в окнах, игра реклам, отсюда, сверху, кажется чужим, а истинные звезды, наоборот, становятся близкими тебе, ведь именно по ним пилот будет вести аэроплан через Атлантику, только они и будут связывать меня с надеждой вновь увидеть землю. Надежда... А что это? Ну-ка, ответь, – сказал он себе, – попробуй ответить, тебе надо ответить, потому что внутри у тебя все дрожит и ты подобен загнанному животному, которому отпущен короткий миг на передышку, прежде чем гончие вновь возьмут потерянный след и снова сделаются близкими голоса охотников, лениво продирающихся сквозь осеннюю хрусткую чащобу.

Спасибо тебе, папа, спасибо за то, что ты был! Господи, какое же это таинство – от кого родиться, с кем жить под одной крышей, от каких людей набираться ума... Закономерность людских связей непознанны, да и закономерность ли это: от кого кому родиться? Впрочем, – заметил он себе, – ты же всегда стоял на том, что случай закономерен в такой же мере, как иной закон – случаен...

Наверное, все-таки таинство родственных уз важнее даже, чем лотерея с местом рождения. Появись я на свет где-нибудь в Новой Зеландии, на маленькой ферме возле берега океана, прошли бы мимо меня революция, интервенция, войны... А ты хотел бы этого? У тебя была бы семья, камин в углу холла, дети, может быть, уже внуки. Это так радостно – иметь внука в сорок шесть лет! Ты хотел бы этого – взамен того, что тебе дала жизнь? Ишь, инквизитор, – подумал он о себе, – разве можно ставить такие вопросы? Даже врага грешно спрашивать об этом, а уж себя тем более. А вообще-то я бы хотел жить одновременно несколькими жизнями: и в тишине новозеландской фермы, и в Бургосе тридцать шестого, и в Берлине сорок пятого, и конечно же в октябре семнадцатого, как ни крути – главный стимулятор истории, пик века. Нет, – сказал себе Штирлиц, – ответ обязан быть однозначным – “да” или “нет”. Иди-ка ты к черту, Штирлиц, – сказал он себе и с ужасом подумал, что к черту он гнал не Севу Владимирову, под этим именем он жил до двадцать первого, не Максима Исаева, он был им до двадцать седьмого, а Штирлица, им он был девятнадцать лет, добрую половину сознательной жизни. – И самое ужасное заключается в том, что думаю-то я чаще по-немецки... Менжинский в свое время говорил мне, что русские разведчики будут сыпаться на манере счета: только в России погибают пальцы, отсчитывая единицу, десяток или тысячу; во всех других странах – отгибают пальцы от ладони или погибают их, начиная с большого пальца. Русские же поначалу погибают мизинчик, потом безымянный, средний, указательный, а прикрывают пальцы, окончив счет, большим – вот тебе и кулак... Кстати, Воленька Пимезов – помощник шефа владивостокской контрразведки, знаток российской “самости” – причислял и это качество к мессианскому призванию нации; покончил с собой в Маньчжурии в сорок пятом, накануне краха Японии, а как перед этим разливался в “Русском фашистском союзе”, как пел, голубь...»

«Никто так не предаёт Родину, как человек, тянущий ее назад, полагающий – по бескультурью ли, наивности или душевной хвори, – что, лишь консервируя прошлое, можно охранить собственную самость», – эти слова отца Штирлиц вспоминал часто, особенно когда ему пришлось изучать книгу гитлеровского «философа» Розенберга «Миф XX века».

...Он до мельчайших подробностей помнил руки отца: Владимир Александрович был худ и щеделушен, но руки у него были крестьянские, хваткие, однако они преображались, когда

отец прикоснулся к книге, делались женственными, мягкими, отдающими, но и одновременно вбирающими.

«Даль – это память России, – сказал однажды отец. – Если Пушкин – неосуществленная Россия, опережающая проекция мечты на невозможность тогдашней реальности, то Владимир Даль – кладовая, которая еще не разобрана потомками. Если тебе станет трудно и ты захочешь найти ответ на мучающий тебя вопрос – не пустяшный какой, мы все страдаем оттого, что маемся из-за пустяков, тратим на них время и нервы, – возьми «Толковый словарь русского языка» и погрузись в него, сын, это – очищение и надежда».

Именно отец и спросил его: «Знаешь, что такое надежда?»

– А как же, – удивленно, несколько даже обескураженно ответил тогда Всеволод, – это если веришь в то, что сбудется.

Отец улыбнулся и, покачав своей красивой седовласой головой, ответил:

– Надежда, точнее говоря «надеяться», означает частицу «авось», выраженную глаголом. Впрочем, так же абсолютны и другие толкования Даля: «считать исполнение своего желания вероятным», «опора», «приют», «отсутствие отчаянья», «призывание желаемого», «вера в помощь»... Только с одним понятием в трактовке Даля я не могу согласиться.

– С каким? – спросил тогда Всеволод.

– Возьми второй том и открой двести семнадцатую страницу.

Всеволод достал толстый том вольфовского издания и прочитал:

– «Культура... Обработка и уход, возделывание, возделка; образование умственное и нравственное» говорят даже «культивировать» вместо «обрабатывать, образовывать»...

– Тебя все устраивает в этом объяснении?

– Да, – ответил Всеволод.

– Ну, хорошо, а может ли считаться культурным человек – «образованным», то есть закончившим университетский курс и придерживающимся определенного нравственного кодекса, в конкретном случае я имею в виду догмы Ватикана, – тот, кто санкционировал сожжение Джордано Бруно? Или гнал под пулю Пушкина? То-то и оно что нет. Так что же тогда «культура»? Все-таки жизнь рождает слово как выражение понятия, а не наоборот, – сказал тогда отец. – Преклоняясь перед великим, не бойся спорить с ним, иначе мир остановится. В споре рождается не только истина, в нем сокрыта двигательная мощь прогресса... Но – при этом – обязательно посмотри у Даля трактовку понятия «упрямство». Грань между тем, кто спорит, желая понять сокровенную суть предмета, и самовлюбленным Нарциссом, который всегда болезненно эгоистичен, весьма важна при определении жизненной позиции...

«Сколько ж мне тогда было лет, – подумал Штирлиц, с какой-то невыразимой грустью наблюдая за тем, как пригоршня земных звезд постепенно превращалась в мерцающую пыль, а потом и вовсе потонула в чернильном мраке ночи. – Пятнадцать? Или шестнадцать? Наверное, все-таки пятнадцать. По-моему, этот разговор случился у нас после того, как отец вернулся из Циммервальда; он тогда еще сказал про Муссолини, который представлял социалистов Италии: “Я боюсь людей с тяжелым подбородком и страстью к литым формулировкам, особенно когда они заказывают шикарный обед в закусочной”.

Я никогда не называл папу словом “отец”. Почему? Видимо, из-за того, что оно какое-то жесткое. В нем сокрыта заданная подчиненность; некоторые считают, что “папа римский” есть производное от “папы” людского, привычного и близкого; какая ошибка! Чем больше в мире будет людей, чем выше скорости аэропланов, дерзающих перелетать океан, тем важнее для человечества научиться понимать друг друга. Нет ничего загадочнее языка; все-таки ни в музыке, ни в живописи не сокрыто столько таинственных значимостей, оттенков, отчаяний и надежд людских, как в языках...

...Разве еще вчера я мог надеяться, что буду лететь из столь любимой Испании Лорки – и одинаково ненавистной Испании Франко – к свободе? Сашенька и Санька, она и он, любимая

и сын, господи, как это страшно – увидеть женщину, с которой расстался двадцать четыре года назад! Ты ведь кажешься себе таким же, как и прежде, мы не стареем в своей памяти, даже когда смотримся в зеркало, выскабливая по утрам щеки и подбородок синеватым лезвием опасной бритвы. Старееют лишь окружающие нас, такова уж человеческая натура. Можно ли изменить ее в этом, отправном? Вряд ли.

Разве я мог надеяться еще два месяца назад, когда отдал полторы песеты на Растре продавцу газет и журналов Пепе, получив взамен очередную “Семану” с фотографией на обложке легендарного Манолете на мадридской корриде и с сообщением на последней странице о том, что министр индустрии и коммерции Испании сеньор Суансес будет приветствовать в аэропорту шефа пилотов новой линии Мадрид – Буэнос-Айрес сеньора Ансальдо, провозжая в Аргентину заместителя министра иностранных дел сеньора Суньера и генерального директора испанской авиации полковника Банью в первый межконтинентальный полет, что буду сидеть возле иллюминатора этого ДС-4, четырехмоторного гиганта, в котором нет более привычной тебе холодной ребристости металла “юнкерсов” и “дорнье”, а вместо этого мягкая матерчатая обивка, будто дом поднялся в небо? Никакого ощущения полета, лишь нудный, словно бормашина, гул двигателей позволяет тебе осмыслить передвижение – полет, говоря точнее...

Я должен отдышаться, – сказал он себе и повторил: – Я должен отдышаться, и, прежде чем я стану думать о будущем, надо вспомнить прошлое. Без прошлого будущее невозможно, впрочем, возможно ли прошлое без будущего? Ну, давай, – сказал он себе, – у тебя есть шестнадцать часов форы, и, если все случившееся не есть игра, условия которой ты не понял, надо поразмыслить над тем, что случилось, а после этого придумать, как ты сможешь сбежать из аэропорта Рио-де-Жанейро – там будет посадка; затем будет в Буэнос-Айресе, но туда русские дипломаты еще только едут, а в Бразилии они уже давно; там **надежда**, то есть приют. Спасибо тебе, папа, за Даля, все-таки лучшим определением “надежды” надо считать слово “приют”, а уж потом “авось”, выраженное глаголом...»

– Что будете пить? – услышал он голос высокого стюарда в белой форме «Иберии». – Перед ужином мы можем предложить вам виски, вино, херес – если вы испанец, ну и, конечно, хинебру<sup>1</sup>...

Штирлиц хотел было спросить, сколько это стоит, но потом вспомнил про конверт с долларами, который перед вылетом ему передал Роумэн, подивился тому, как быстро человек привыкает к нищете, и ответил:

– Я бы выпил виски...

– Со льдом?

– Нет. Безо льда и без содовой.

– Какое виски предпочитаете? «Уайт лэйбл»? «Балантайн»?

– Да черт с ним, любое.

– У нас также есть легкое снотворное. Если желаете, я могу предложить вам, полет над океаном несколько утомителен, проснетесь, когда мы увидим континент...

– Спасибо, я, наверное, попрошу у вас снотворное, – ответил Штирлиц, – только сначала я хочу выпить: я вижу, у вас здесь даже дети пьют вино...

Пить он не любил; в той среде, где он воспитывался, – а это были профессиональные революционеры – сама мысль об алкоголе казалась противоестественной, дикой, однако здесь, в небе, на борту испанского лайнера, где все пьют, нельзя выделяться ни в чем – даже в самой малости.

«...Ну, – сказал он себе, – ты, наконец, один; ты даже не на земле, ты надмирен и вознесен, ты подданный логики, которая только и может созидать формулы, конечным результатом

<sup>1</sup> Хинебра (*исп.*) – джин. Здесь и далее примечания автора.

которых является это четырехмоторное чудо, переносящее тебя в Новый Свет за шестнадцать часов, а не за год, как триста лет назад. Думай, вспоминай, выстраивай схему, чтобы было что ломать и с чем спорить. С кем протекли его боренья? С самим собой, с самим собой...

Сколько же раз я повторял эти строки, – спросил он себя. – Отчего именно эти слова так запали мне в душу? Отчего из сорока тысяч слов моего языка именно эти постоянно живут во мне? Мы погружены в тайну, – подумал Штирлиц, – и эта высшая тайна не идет ни в какое сравнение со всеми остальными, земными, здешними. Каждое мгновение, которое грядет, – тайна: я могу обернуться и встречу взглядом с пустыми глазами двух или трех цинкомордых; которые и здесь неотрывно следят за мной, или, наоборот, увижу лицо давнего друга. Тайна. Самолет держится устойчиво, и нет болтанки, к которой я привык, когда летел сюда, в Испанию, в тридцать шестом на “юнкерсах” эскадрильи “Кондор”, или позже, в Краков, зимой сорок четвертого, когда все на борту дребезжало и звенело и не было нынешней надежности полета. Но ведь впереди, возможно, гроздытся сахарные головы грозовых туч и зреет тот именно разряд, который ударит в крыло нашего самолета. Раздастся сухой треск, фюзеляж треснет пополам, и я, захлебнувшись собственным криком, рухну вниз, думая, однако, при этом, что мне повезет и я сумею войти в зеленую жуть океана “солдатином”, заставлю себя раздвинуть руки, остановлю погружение, вынырну пробкой, а рядом будет качаться на волнах маленькая рыбацья шхуна – обязательно польская или болгарская, и я смогу подняться на борт, там меня напоят горячим грогом, и я усну без снотворного, которое так услужливо предлагают здесь, на борту этого таинственного чуда. Нет, – возразил себе Штирлиц, – тайна заключена еще и в том, что ты, думая о чуде вторым слоем своего сознания, прекрасно понимаешь, что спасение – если ударит молния – невозможно, и в глубине души ты остро жалеешь себя, свою неприкаянность, то, что жизнь – как ее понимают миллиарды твоих собратьев – прошла мимо: ты не знал семьи, ты был один, всегда и везде, словно волк в облаве; ты жил среди волков большую часть жизни, ты был затаен, это верно, но ты не имел права исповедовать волчьи законы выживания, ты должен был пройти между Сциллой долга и Харибдой нравственности... А еще, – подумал он, – если что-либо случится с самолетом, тебе будет мучительно, до слез жаль всех тайн, которые исчезнут вместе с тобой».

Штирлиц вдруг улыбнулся, оттого что явственно увидел лица Миньки, ванюшинского слуги, и его квартиранта – доцента Шамеса, когда они сидели в подвале, во Владивостоке, незадолго перед тем, как в город пришли войска Уборевича, и услышал слова Шамеса, который говорил, что мысли человеческие не исчезают со смертью плоти, они – в воздухе, они сохраняются вечно, и придет время, когда человечество сконструирует аппарат, который запишет мысли Цезаря и Христа, Леонардо и Пушкина, Баха и Чаадаева...

«А ведь придет это время, – сказал себе Штирлиц, – и оно не за горами, потому что двадцать лет назад полет через океан казался утопией, а сейчас сидят в аэроплане семьдесят человек – действительно пятиэтажный дом в небе, и это уже перестало быть чудом... Но это перестало быть чудом после войны, – подумал он. – Как страшен Мальтус, ведь в подоплеке его теории лежит удобность мора, а нынешняя война была самым страшным мором изо всех, какие переживало человечество...»

Штирлиц вдруг усмехнулся: «Интересно, сколько еще времени придется ждать, пока Центр сможет уловить его, Штирлица, мысли и записать их на хитрые машины, не сконструированные еще учеными? А что такое мысль? Концентрат памяти плюс фантазия – раскрепощенные представления о том, чего еще не было. Впрочем, видимо, так следует определять идею – мысль более вещественна, это скорее суммарный вывод из пережитого, конкретика».

И вдруг он снова – в который уже раз – с мучительной ясностью услышал то, о чем говорили в соседней комнате, на конспиративной квартире Мюллера, куда тот привез его во время сражения за Берлин, **вычислив** с абсолютной точностью, что Штирлиц работает на русскую разведку. Быстро, захлебываясь, час за часом гестаповцы диктовали машинистке компроме-

тирующие данные на французских политиков и русских военных, с которыми работало СД, когда те сидели в немецких концлагерях.

«Эти имена всегда жили в тебе, – подумал Штирлиц. – Этот страшный груз памяти не давал тебе покоя, но ты понимал, что лишен связи и не можешь передать Центру эти страшные данные об измене. А потом ты истязал себя одним и тем же вопросом: “Почему Мюллер, который мог все, умел учитывать любую мелочь, рассчитывал каждый свой шаг, не сделал лишь одного: не приказал Ойгену и Вилли сразу же закрыть дверь в твою комнату?” Ведь он хотел, чтобы я остался жив и стал его гарантом для Центра, отчего же позволил мне услышать то, что было высшей тайной рейха?! Что, как не высшая тайна, подлинное имя агента? Да еще такого уровня, какого достигли те, чьи имена гвоздями вошли в мой мозг и сидят там постоянно, – боль лишь на время затихает, но потом снова и снова рождается безответный вопрос: “Но почему же, почему такие люди пошли на вербовку к наци?! На чем их могли сломить? Кто? Где? Каким образом?!”

Самолет резко тряхнуло, хотя сахарных голов грозовых туч не было. Перемигиваясь, мерцали близкие звезды, а под крылом медленно («Ничего себе медленно, пятьсот километров в час!») проплывали пики гор, освещенные мертвенным светом луны.

«Интересно, – подумал вдруг Штирлиц, – а наступит ли время, когда люди перестанут бояться летать в аэропланах? Наверное, да. Сто лет назад все боялись поезда, каждое путешествие из Петербурга в Москву было событием в жизни человека: дьявольская скорость – тридцать верст, колесики махонькие, рельсы тонюсенькие, склизкие, неровен час – соскользнут, грохнемся с откоса, костей не соберешь, страх господень! А кто теперь думает о возможности катастрофы, устраиваясь в удобном купе? Думают, наоборот, о том, сколь ползуча скорость, как много времени, которое можно было бы употребить с пользой, пропадет зря, – писать трудно – качает, а думать – так тянет на минор, расслабление, в то время как нынешний ритм жизни предполагает постоянную собранность – никаких отвлечений, даже окна квартиры целесообразнее завешивать плотными шторами или металлическими жалюзи; стол, стена, привычные корешки нужных книг и все. Изволь думать предметно, то есть узко и про то именно, что вменено тебе в обязанность».

Он резко поднялся и сразу же заметил в глазах пассажиров испуг: неожиданное движение в самолете воспринимается как возможный сигнал тревоги; нигде, кроме как в небе, люди не ощущают так остро своей беспомощности, ибо добровольно отдали свои жизни в руки пилота, удерживающего штурвал.

«И олень, – подумал Штирлиц, – таясь в чащобе, ни на что так не реагирует, как на резкое движение. Вот где ты усмотрел общие корни с меньшими братьями.

Цинкомордых нет, – понял Штирлиц, мельком оглядев пассажиров, – во всяком случае, здесь, в хвосте; и все пьют, даже женщины. Неужели только алкоголь дает ощущение храбрости? Иллюзию – да, – сказал он себе. – Человечество, лишенное возможности по-настоящему выявить себя, придумало виски, джин, коньяк, водку, только бы погружаться в иллюзию предстоящих поступков – обязательно добрых, умных, смелых; ан проснулся – голова разваливается, пропади все пропадом, свет не мил... Ничего, отоспятся, когда прилетим в Новый Свет... “Если прилетим”, – поправил он себя, – нельзя быть категоричным в небе, когда ты – ничто и лишен всех прав, кроме одного: сидеть, пить виски и вспоминать, что было, пытаясь ответить себе на один только вопрос: случившееся сегодняшней ночью – игра Роумэна, или все же произошел тот Случай, который по справедливости следует называть Его Величеством?

Подход ко мне на авениде Хенералиссимо американцев, появление Кемпа, затем Роумэн; ИТТ, Эрл Джексон, брат которого возглавляет разведку на юге Америки; Криста, повязанная с наци... Можно предположить, что мой полет есть звено неведомой мне игры, разведка умеет закручивать такие интриги, которые не под силу Аристофану с Шекспиром, ибо художник страшитса вседозволенности, а Шелленберг нацеливал всех именно на это. Но нельзя же допу-

стить, что ради какого-то Штирлица в Америке устроят фарс с привлечением к суду Бертольда Брехта и Ганса Эйлера, а ведь именно на этом дрогнул Пол Роумэн...»

В туалете пахло горькой лавандой, на полочке стояли три сорта туалетной воды: чего не сделают владельцы авиакомпании, лишь бы привлечь людей, – и виски тебе, и джин, и коньяк, и даже горькая лаванда из Парижа.

«Нет, – подумал Штирлиц, разглядывая свое отечное, еще более постаревшее лицо в зеркале, подсвеченном синеватым светом невидимых ламп, сокрытых где-то в отделке маленькой аптечки, набитой упаковками аспирина, – Роумэн не играл со мной, особенно в последний день. Им, может быть, играли. Но не он мной.

Если его не пристукнут сегодня, а по раскладу сил им надо убирать его, этот парень поможет мне вернуться домой. Когда-нибудь моя ситуация может показаться людям дикой, невероятной, фантазмагорической: человек сделал свое дело, намерен вернуться на Родину, она всего в семи часах лета от Мадрида, но реальной возможности возвращения не существует. Потомки отметят в своих изысканиях одну из главных отличительных черт национал-социализма: **закрытость**. Именно так. При нескрываемой агрессивности – тотальная закрытость государства, табу на знание иных культур, идей, концепций; невозможность свободного передвижения, запрет на туризм: “Мы – нация избранных; тысячелетний рейх великого фюрера есть государство хозяев мира, нам нечему учиться у недочеловеков, мы лишь можем заразить нацию чужеземными хворобами, гнусными верованиями и псевдознаниями; немцам – немецкое”. Франко скопировал Гитлера, несколько модифицировав практику его государственной машины с учетом испанского национального характера; чтобы отвлечь народ от реальных проблем, во всем обвиняли коммунистов и русских. Зато празднества теперь были невероятно пышны и продолжительны, готовились к ним загодя, нагнетая ажиотаж; всячески культивировали футбол, готовили страну к матчам, особенно с командами Латинской Америки, словно к сражению, отвлекая таким образом внимание людей от проблем, которые душили Испанию; тех, кто не поддавался такого рода обработке, сажали в концентрационные лагеря; разжигали страсти вокруг тех или иных фламенко<sup>2</sup>; коррида сделалась, особенно благодаря стараниям профсоюзной газеты “Пуэбло” и еженедельника “Семана”, прямо-таки неким священным днем: пятница и суббота – ожидание, воскресенье – таинство, понедельник и вторник – обсуждение прошедшего боя, а, глядишь, в среду какой-нибудь футбол, вот и прошла неделя – и так год за годом, ничего, катилось. При этом абсолютная закрытость границ, не столько для иностранцев, как у Гитлера, сколько для своих: чтобы получить визу на выезд во Францию, надо было тратить многие месяцы на ожидание, заполнять десятки опросных листов, проходить сотни проверок. С моими-то документами, – усмехнулся Штирлиц, – я бы не выдержал и одной... А французы? Соверши я чудо – переход испанской границы, французы должны были бы поверить мне? “Почему же не вернулись раньше?” “Почему не написали в Москву?” Как ответить людям, живущим в демократическом обществе? Они ведь не поймут, что вернуться из фашизма не просто; написать – нельзя, перехватят, особенно если на конверте будет стоять слово “Москва”. А разве бы я поверил на их месте? Нет, конечно. Человек с никарагуанским паспортом, нелегально перешедший границу, говорит, что он полковник советской разведки, и это спустя полтора года после окончания войны... Этика взаимоотношений между погранзаствами заставила бы французов передать меня испанцам – слишком уж невероятна моя история... Да и я – поставь себя на место моего Центра – долго бы думал, признавать меня своим или нет, особенно после того, как Роумэну передали отпечатки моих пальцев в связи с делом об убийстве Дагмар Фрайтаг и бедняги Рубенау...

Только в Рио я могу прийти в наше посольство, – сказал он себе. – Риск сведен до минимума. Даже если вход в посольство охраняют – а его наверняка охраняют, – у меня теперь в

<sup>2</sup> Фламенко (*исп.*) – исполнители танцев и песен.

кармане надежный паспорт, который дал Роумэн: “Я обращаюсь к русским за визой”, там я в безопасности, там я спасен, и случится это через шестнадцать часов, если аэроплан не попадет в грозу и молния не ударит по крылу, не откажут два мотора и не случится самозагорания проводки, сокрытой – для максимального комфорта – под мягкой кожей обивки фюзеляжа.

Кстати, – подумал Штирлиц, – я однажды вспоминал уже наш разговор с папой о культуре; это было на той страшной конспиративной квартире Мюллера, когда его доктор делал мне уколы, чтобы парализовать волю... Я то и дело цепляюсь, словно за спасательный круг, за папу. И тогда папа спас меня, не дал сломаться; он постоянно во мне; воистину, веков связующая нить. Лицо его у меня перед глазами, я слышу его голос, а ведь последний раз мы виделись двадцать пять лет назад в нашей маленькой квартирке в Москве, когда я обидел его, – никогда себе не прощу этого. Видимо, ощущение вины и дает человеку силу быть человеком; тяга к искуплению – импульс деятельности, только в работе забываешь боль.

А каково будет Роумэну, если я выйду из самолета, чувствуя, что сил продолжать борьбу нет? Каково будет ему остаться одному? Я ведь пообещал ему не уходить, обговорил формы связи, породил в нем надежду на то, что буду рядом. Я готов к тому, чтобы стать лгуном? Изменить данному слову?»

Штирлиц вернулся на свое место; стюард попросил его пристегнуть ремни.

– Через тридцать минут мы сядем в Лиссабоне, сеньор. Еще виски?

– А почему бы и нет? Вы давно летаете на этом рейсе?

– Третий месяц, сеньор. Я был среди тех, кто открывал линию.

– Полет утомителен?

– В определенной мере. Но зато абсолютно надежен. Не зря ведь ученые считают, что на земле и в океане куда больше возможностей попасть в катастрофу. Вы, кстати, застраховались перед вылетом?

– Нет. А надо было?

Стюард пожал плечами:

– Я-то застраховался на пятьсот тысяч, пятую часть оплатила фирма; у меня жена ждет ребенка...

– Боитесь перелета?

– Ну что вы, сеньор, – ответил стюард, – такая надежная машина, гарантия безопасности абсолютна...

По тому, как парень ответил ему, Штирлиц понял, что тот боится. «Да ты и сам побаиваешься, – сказал он себе, – нет людей без страха; есть бесстрашные люди, но это те, кто умеет переступать страх, знакомый им, как и всем другим; очень скверное чувство, особенно если боишься не только за себя, но и за тех, кого любишь, а еще за то, что у тебя в голове, что необходимо сохранить для пользы дела, рассказав об этом, известном одному лишь тебе, всем, кого это касается. А ведь то, что знаешь ты, касается всех, потому что никто не знает нацизма, как ты, никто из выживших. Не было людей, переживших инквизицию, ибо она не рухнула, подобно нацизму, но медленно и ползуче сошла на нет, обретая иные формы в мире. Остались иносказания и намеки. Летописи инквизиции, оставленной жертвами и свидетелями, не существует; значит, всегда будет возможное двоякое толкование фактов. Я в этом смысле **уникум**: человек враждебной нацизму идеологии двенадцать лет – всю его государственную историю – проработал в его святая святых – в политической разведке. Кто скажет миру правду, как не я? Но почему, – в который уже раз, прерывая самого себя, Штирлиц задал себе вопрос, который постоянно мучил его, – почему Мюллер позволил мне узнать больше того, что я имел право знать? Почему его люди называли в соседней комнате имена своих агентов – такие имена, от которых волосы становятся дыбом?! До тех пор, – сказал он себе, – пока ты не найдешь этих людей, имена которых знаешь, а еще лучше Мюллера, – он жив, он готовился к тому, чтобы уйти, – ты ничего не поймешь, сколько бы ни бился. Хватит об этом, смотри в иллюминатор.

Снова кто-то швырнул на землю сине-бело-желтую гроздь звезд – Лиссабон, столица Салазара, друга фюрера; сколько же у него осталось в мире друзей, а?!»

Пассажир, который вошел в самолет в Лиссабоне, показался Штирлицу знакомым. «Я встречал этого человека. Но он знает меня лучше, чем я его. Это точно. Цинковоглазый? Нет. Другое. Вспомни его, – прикрикнул он на себя и, усмехнувшись, подумал невольно: – Мы, верно, единственная нация, которая и думает-то проворно только в экстремальной ситуации. Американец вечно торопится, он весь в деле; британец величав и постоянно озабочен тем, чтобы сохранить видимость величия; француз рад жизни и поэтому отводит от себя неуютные мысли, а более всего ему не хочется терять что-либо, не любит проигрыша, прав Мопассан; мы же витаем, нам угодно парение. Мысль как выявление сиюминутного резона не в нашем характере, пока гром не грянет, не перекрестимся».

Пассажир обвалисто устроился в кресле; он как-то до отвратительного надежно обвыкался на своем месте, ерзал локтями, поводил плечами, потом, почувствовав себя удобно, обернулся, встретился глазами со Штирлицем, нахмурился, лоб светло резкими морщинами, рот сжался в узкую щель; тоже, видимо, вспоминал.

Первым, однако, вспомнил Штирлиц: это был адъютант Отто Скорцени штурмбаннфюрер Ригельт.

– Привет, – кивнул Ригельт. – Это вы?

Штирлиц усмехнулся – вопрос был несколько странным.

– Это я.

– Я к вам сяду или вы ко мне? – спросил Ригельт.

– Как угодно, – ответил Штирлиц. – Простите, я запомнил ваше имя...

– А я – ваше...

– Зовите меня Браун.

– А я – Викель...

## Роумэн. (Мадрид, ноябрь сорок шестого)

– Быстро же вы добрались до Мадрида, господин Гаузнер, – сказал Роумэн.

– Да, я действительно добрался очень быстро, – хмуро ответил Гаузнер. – Идите в комнату, Роумэн, у нас мало времени.

– Знаете, мы привыкли к тому, что сами приглашаем, особенно в собственном доме... Идите в комнату, господин Гаузнер. Устраивайтесь на диване, я приготовлю кофе...

– Перестаньте. Не надо. Вы проиграли, смиритесь с этим. Если не смиритесь, вашу подругу шлепнут. Через полчаса. Можете засечь время. Вас убирать у меня нет указаний, хотя я бы лично пристрелил вас с превеликим удовольствием.

– Руки поднять за голову? – усмехнулся Роумэн.

– Да, руки поднимите за голову.

– Неужели вы рискнули прийти ко мне один? – спросил Роумэн, усаживаясь на высокий табурет, сделанный им на заказ у столяра Освальдо, как и маленький г-образный бар («Американец остается американцем и в Старом Свете, привычка к бару – вторая натура, как у британцев – клуб, – объяснял он Кристине. – Если англичанин попадет на необитаемый остров, он обязательно сначала построит тот клуб, куда он не будет ходить, а уж потом соорудит клуб для себя»).

– А это не ваше дело, – ответил Гаузнер, сунув пистолет в задний карман брюк, и по тому, что он спрятал оружие, Роумэн понял, что в квартире есть еще кто-то.

– Один на один я с вами разговаривать не стану, – сказал Роумэн. – Я хочу иметь свидетеля. Пусть это будет ваш человек, но все равно свидетель.

– Вы хотите другого, – заметил Гаузнер, посмотрев на часы, – вы хотите убедиться, что меня страхуют. Иначе бы вы начали ваши ковбойские штучки с бросанием бутылок и опрокидыванием стульев. Эй, ребята, – Гаузнер чуть повысил голос, – откликнитесь.

– Все в порядке, – ответили с кухни, – мы здесь.

– Тогда действительно свидетели не нужны, – вздохнул Роумэн. – Я могу достать сигареты?

– Откуда?

– Я же не иллюзионист. Из воздуха не умею. Они лежат у меня в левом кармане брюк.

– Эй, – Гаузнер снова повысил голос, – помогите ему.

Из кухни вышел невысокий, квадратноплечий крепыш, подошел к Роумэну, словно к какому-то предмету, споро и заученно прохлопал его по карманам, залез под мышки («Я же потный, как не противно») и молча удалился, не сказав Гаузнеру ни слова.

– Можете курить.

– Вы очень любезны.

– К сожалению, я даже слишком любезен. Увы! Мы уже потеряли четыре минуты. Не по моей вине. Это работает против вашей подруги. Поэтому я потороплюсь перейти к делу. Мы освободим вашу девицу, если вы сейчас же, прямо здесь, за этим баром, – Гаузнер не сдержался, добавил: – за этим паршивым баром нувориша напишете обязательство работать на меня, лично на меня, Гаузнера, снабжая секретной информацией о практике разведывательной работы Соединенных Штатов. При этом, чтобы ваше обязательство не оказалось клочком бумаги, которым можно подтереться, вы дадите мне ключ кода, по которому сноситеесь с Вашингтоном. Если солжете, я имею возможность это проверить, вашу подругу уберут, Роумэн...

– «Мистер Роумэн», пожалуйста. Я ценю корректность.

– Повторяю: у вас осталось двадцать шесть минут на раздумье, Роумэн.

– «Мистер Роумэн»... Я настаиваю на такого рода обращении, господин Гаузнер. Как-никак вы предлагаете серьезную сделку, партнеры должны быть уважительны по отношению друг к другу.

– Это не сделка. Это вербовка.

– По-вашему, вербовка не является наиболее утонченной формой сделки? Как же вы тогда работали, господин Гаузнер? Не является ли ваше поражение следствием того, что и в вербовке вы унижали человека? Того, который вас делал героем, за которого вы получали кресты и повышение по службе?

– Я всегда ценил моих агентов, Роумэн, потому-то они работают на меня и поныне.

– Ну так и стреляйте на здоровье своего агента. Девица, как вы изволили заметить, работает на вас и поныне, она – ваш человек и неплохо меня размяла, но не считайте американцев слюнтяями, это весьма распространенная ошибка, она не приводит к добру.

Гаузнер поднялся, несколько недоуменно пожал плечами и громко сказал:

– Ребята, пошли.

Он не стал даже смотреть на Роумэна, дожидаясь его реакции, и неторопливо двинулся к двери. Из кухни, сообщавшейся с холлом, вышло двое почти совершенно одинаковых крепышей, валко потянулись следом за Гаузнером, одетым в поношенный, но тщательно отутюженный костюм с высокими подложенными плечами и спортивным хлястиком. (Именно такие обычно носили немецкие киногерои перед началом войны. Перед забросом в рейх Брехт предложил Роумэну посмотреть все гитлеровские ленты, которые были в Голливуде. «Ты их почувствуешь, – сказал он тогда, – их довольно трудно понимать, так они тупы, но чувствовать надо непременно, я буду комментировать, и тебе станет хоть кое-что ясно, Пол».)

Лишь когда хлопнула входная дверь, Роумэн понял, что они убьют Кристину, потому что она является его, Роумэна, коронным свидетелем, поскольку одна дает ему реальную возможность доказать в Вашингтоне, что **организация** в Мюнхене не просто борется с угрозой большевистской инфильтрации в Европу, а начала работу по вербовке офицеров американской разведки – тех, которые для всего мира являются победителями, оккупирующими четвертую часть поверженного германского рейха.

«У него, у этого Гаузнера, нет иного выхода, – понял Роумэн с абсолютной, тоскливой ясностью, – они убьют Крис, это, увы, по правилам».

Роумэн спрыгнул с табуретки и бросился к двери.

Если бы он заставил себя сосчитать секунды, прошедшие после ухода Гаузнера, и помножить их на количество шагов, сделанных немцем по ступеням широкой лестницы, он бы мог понять, что Гаузнер шел излишне медленно, не шел даже, а крался, ожидая того момента, когда Роумэн, отворив дверь, крикнет: «Вернитесь!» Если бы он понял это, весь дальнейший разговор пошел бы иначе, но Роумэн не смог сделать этого, он просто явственно увидел веснушки на выпуклом лбу Кристины, ее прекрасные глаза и, резко распахнув дверь, крикнул в лестничный пролет:

– Пожалуйста, вернитесь!

...Кирзнер, один из помощников Кемпа, находившийся все эти месяцы «в резерве» и включенный в нынешнюю операцию впервые за шестнадцать месяцев после своего побега из рейха, посмотрел на часы, потом перевел взгляд на усталое лицо женщины, обернулся к молчаливому человеку, сидевшему возле двери с короткоствольным охотничьим ружьем на коленях, и сказал:

– Милая фройляйн, давайте оттрепетуем все, что вам нужно будет сделать, когда мы отправим вас к любимому... К мистери Полу Роумэну... Кстати, вы его любите? Действительно, любите?

– Нет, – ответила Криста, потому что знала: никому нельзя признаваться в двух ипостасях человеческого состояния – в любви и ненависти; друзья и так все поймут, а враги умеют поль-

зоваться этим знанием. «Дурочка, – подумала она, – как много нужно было потерять, прежде чем я смогла понять это; никто, ни один человек на земле не должен был знать, как я любила отца, тогда бы в гестапо на этом не играли, надо было казаться равнодушной – “Ох, уж эти дети, у них каменные сердца!”... А они знали правду... Верно говорят: знание – это путь в ад, по которому гонят тех, кто позволил себе открыться».

– Вы говорите правду?

– Абсолютную.

– Вы всего лишь добросовестно выполняли просьбу вашего руководителя?

– Нет. Я не очень-то жалую моего руководителя...

– Почему так?

– Я перестала ему верить.

– Вы сказали ему об этом?

– Каждый человек верит в ту соломинку, которую ему кидают... Особенно женщина...

– Тем не менее результаты вашей работы с мистером Роумэном были поразительны...

– Он хорош в постели.

Кирзнер неторопливо закурил, вновь внимательно взглянул на женщину, поняв, что она говорит неправду: ему было известно, что к Роумэну применяли особую степень допроса и это наложило отпечаток не только на его психику, но и на физическое состояние – когда только намечалась комбинация, ему удалось подвести к американцу джазовую певичку из Лиона, бедняга была в отчаянии, ей не удалось расшевелить американца, а она была большой мастерицей на эти дела: «Он ничего не может, это бесполезно».

– Вы мне солгали, – заметил Кирзнер. – Зачем?

– Я сказала вам правду.

– Нет. – Кирзнер покачал головой. – У меня есть основание не верить вам.

– Почему?

– Потому что физические качества Роумэна – простите меня, бога ради, но мы с вами оба работаем в разведке, тут нельзя ничего утаивать друг от друга – далеки от того, чтобы увлечься им в постели. Для этого в Испании есть более интересные экземпляры мужского пола.

– Во-первых, мы оба в разведке не работаем, – ответила Криста. – Вы работаете в разведке, а я вам служу... Точнее говоря, вы пользуетесь мной в вашем деле... Во-вторых, – не обратив внимания на протестующий жест Кирзнера, – во-вторых, – жестко повторила она, – вы можете узнать про меня то, что вам кто-то скажет, вы можете разглядывать фотографии, сделанные потайными камерами, или слушать магнитофонные записи, но вы никогда не поймете, что я ощущаю, когда мужчина смотрит на меня, когда он улыбается мне, обнимает, что я чувствую, когда он прикасается к моей руке или гладит по щеке... Как всякий мужчина, вы лишены той чувственности, какой обладаем мы. Мужчина чувствует и любит прямолинейно, женщина воспринимает любовь опосредствованно... Вы, видимо, знаете, что я по профессии математик, так что, если вы заменили Гаузнера и Кемпа, или, точнее говоря, они передали меня вам, вы должны знать, что я тяготею к точности в выражениях: ничего не попишешь, печать на человека накладывает ремесло, а не наоборот... Вы бы, например, не смогли быть моим партнером... Простите, я не знаю, как к вам обращаться, вы не представились...

– А никак не обращайтесь. Обходились до сей поры, ну и продолжайте в этом же роде. Только хочу заметить, фройляйн, если вы по-прежнему будете лгать, разговора у нас не получится, а вы в нем заинтересованы куда больше, чем я.

– Вы меня сломали, мой господин. А когда человек сломан, его перестает интересовать что бы то ни было.

Кирзнер посмотрел на часы, потянулся с хрустом и, закурив, заметил:

– В таком случае через двадцать две минуты Роумэна шлепнут. Хотите кофе? Вы же устали, бедняжка.

– Я действительно очень устала, – ответила Криста, чуть поправив волосы, – но я бы выпила виски, это меня взбодрит лучше, чем кофе.

– Пепе, – обратился Кирзнер к молчаливому человеку, сидевшему возле двери, – пожалуйста, откройте бутылку, у нас там что-то стоит в шкафу. Фройляйн не взыщет, если мы угостим ее не отборным виски, какое держит в баре мистер Роумэн, а тем, что есть в этом доме.

– Фройляйн устала, – тихо, с какой-то внутренней тоской ответил мужчина. – Не надо ей пить ваше паршивое виски, лучше я сделаю ей крепкий кофе и дам хорошего коньяка.

– Вы страдаете фройляйн? – поинтересовался Кирзнер. – Что ж, я понимаю вас, фройляйн действительно очаровательна, но все-таки сделайте то о чем она – просит, а я – рекомендую.

Пепе съежился еще больше, снова посмотрел на Кристину с состраданием, поднялся и, как-то по-старчески шаркая (хотя был молод, лет тридцать от силы, очень высок, крепок, но худой, несмотря на то, что в его торсе чувствовалась сила), вышел в холл, отделанный темным мореным деревом.

– Через полчаса, – продолжал между тем Кирзнер, потеряв всякий интерес к беседе, – мы отвезем вас на квартиру к Роумэну, запрем дверь снаружи и вызовем полицию. Заранее придумайте версию его смерти, это – единственное, чем мы можем рассчитаться за вашу службу. Благодарите Гаузнера, именно он выбил для вас эту привилегию. Он предполагал, что вы откажетесь, хотя я не очень-то верил ему... Молодец, он понял вас отменно...

– Я не стану придумывать версий, – ответила Криста, чувствуя в себе безнадежную усталую тоску. («Скорее бы все кончилось, нельзя идти в темноте годы; ночь – даже зимняя – так или иначе проходит, но если она продолжается уже тридцать месяцев, то ждать больше нечего... И не от кого... А дважды предательницей я быть не смогу. Я же не актриса. И я люблю Пола».)

– Да? – Кирзнер прикрыл рот рукой, зевнул и снова глянул на часы. – Что вы намерены сказать полиции?

– Правду.

– Всю?

– Да.

– Стоит ли?

– У меня нет больше сил... Врут, когда верят во что-то; у меня сейчас и это кончилось...

– Ну-ну... Не бойтесь, что пресса станет вас называть «нацистской подстилкой»?

– Здешняя? Испанская?

– Эта не станет... Мы позаботимся, чтобы ваши показания сделались известными в Норвегии, милая фройляйн. Вас освободят из здешней полиции после двух-трех недель допросов, но вас вышлют отсюда... Куда возвращаться? Вы же математик, а не писатель... Тот бы нацарапал книжонку, они умеют из дьявола делать ангела, но вы ведь тяготеете к точности в выражениях, вы правы, на человека накладывает печать ремесло, а не наоборот...

– Что вам нужно от меня? – спросила Криста, чувствуя, как обмякает ее тело, ноги становятся ватными, чужими.

– Да ничего мне от вас не нужно, – так же лениво ответил Кирзнер. – Мне было поручено Гаузнером отрепетировать с вами встречу с любимым. Вы отказались. Других указаний я не получал. Подождем, пока он позвонит и скажет, когда вас везти на квартиру мистера Роумэна.

– Мертвого?

– Естественно.

– Что-то не сходится, – сказала Криста, приказав себе сжаться в кулак, затаиться, стать. – Сначала вы мне предложили репетировать, потом сказали, что По... Роумэна убьют... Не связывается...

– Я сказал, что его убьют, когда понял, что вы лжете, стараясь ввести меня в заблуждение по поводу ваших с ним отношений. Если вы скажете мне правду о том, как вы к нему относитесь, его еще можно спасти, у нас осталось, – он посмотрел на часы, – несколько минут. Впрочем, если вы скажете правду, судьба Роумэна по-прежнему будет в ваших руках, ибо после того, как мы отрепетируем – в мельчайших деталях – сцену вашей встречи, дело, как нам кажется, закончится обручением. Но вопрос заключается в том, готовы ли вы продолжать быть с нами, сделавшись миссис Роумэн? Я помогу вам, милая фройляйн. Я, видимо, обязан помочь вам понять правду... Честно говоря, мы попали в засаду. Понимаете? Ваш любимый заманил нас в засаду...

Пришел Пепе, принес чашку кофе и рюмку коньяка.

– Я сделал вам очень горький кофе, Криста, без сахара... И глоток коньяка... Попробуйте... Вот так... Вкусно?

– Спасибо. Действительно вкусно, – усмехнулась Криста, – если только вы не подсыпали туда какой-нибудь гадости.

Лицо человека снова дрогнуло, в глазах что-то вспыхнуло, но это было один лишь миг, потом он снова сгорбился, опустил голову и отошел на свое место к двери.

– Тебе жаль фройляйн, Пепе? – усмехнулся Кирзнер. – Должен тебя обрадовать – мне тоже. Если ты не чувствуешь в себе силы продолжать **работу** с ней, пригласи Хайнца, я не буду на тебя в обиде, правда... Так вот, – не дождавшись ответа Пепе, продолжал между тем Кирзнер, – в Севилье вас опекал не наш человек... Нашего человека выкрали, понимаете? Его подменили парнишкой Роумэна... И он смог переиграть вас, вы открыли ему имя Гаузнера, хотя вы ни при каких условиях не имели права этого делать – вас предупреждали об этом в высшей мере дружески. Согласитесь, что это так. Вы, таким образом, нарушили наш закон, понимаете? Из-за этого жизнь многих моих товарищей находится сейчас под ударом. И валить их намерен Роумэн. Но ударим мы. Мы, фройляйн. С вашей помощью – бескровно, как и полагается в игре профессионалов. Без вашего участия мы точнее закончим дело, но шумно, несмотря на то что у Гаузнера особый пистолет, с насадкой на дуло, выстрел подобен громкому щелчку пальцами... Вот, собственно, и все. У вас одиннадцать минут на то, чтобы принять решение... И давайте я глотну из вашей чашки и из рюмки – вы удостоверитесь, что вас не намерены травить... В самом деле, – отхлебнув, сказал Кирзнер, – Пепе не страшно увольнение, он вполне обеспечит себя работой в хорошем кафе. Ну, милая фройляйн? Надумали? Или – черт с ним со всем?

Кристина обернулась к Пепе; тот сидел в прежней позе, совершенно недвижимый.

– Хорошо, – сказала она, почувствовав, что слезы вот-вот покатятся по щекам, внезапные, как у ребенка, выпустившего из рук воздушный шарик. – Говорите... Я стану вас слушать... Объясните, что я должна сделать...

– Видите, как много неприятных минут нам пришлось пережить, милая фройляйн, пока вы не признались в том, что любите мистера Роумэна... Вы его очень любите, не правда ли?

– Я же объяснила вам... Он устраивает меня как партнер... Он очень... добрый...

– Допустим. Значит, если мы попросим вас влюбиться в него без памяти, – это никак вас не будет травмировать?

– Нет.

– Очень хорошо. Просто замечательно, милая фройляйн. Тогда давайте репетировать... Вы готовы?

...Кемп сидел за стеной, в двух метрах от Кристины. Он слышал ее голос, несколько усиленный звукозаписью, представлял ее лицо страдальческое, осунувшееся, а потому еще более прекрасное, и думал, как жесток этот мир, но – в этой своей жестокости – разумен, то есть логичен.

«Сотни тысяч отцов, какое там, – усмехнулся он, – миллионы – пора научиться признавать правду – оказывались исключенными из жизни рейха, но ведь лишь единицы, я имею в виду их дочерей или сыновей, пошли на сотрудничество с нами во имя их спасения. Природа – главный селекционер; упражнение агрономов – детская игра в угадывание, подход к главной теме; в подоплеке прогресса сокрыто именно это таинство цивилизации, всякое приближение к его разгадыванию чревато всеобщим катаклизмом; создатель не позволит людям понять себя, это было бы крушением иллюзий: Бог и вождь должны быть тайной за семью печатями, иначе человечество уничтожит само себя...

...А работать Кирзнер не разучился, – подумал Кемп, – я не зря берег его все эти месяцы. Рихард Шульце-Коссенс всегда повторял: “Этот парень обладает даром артистизма, он не ординарен, его призвание – театр, не надо его ставить на работу с мужчинами, берегите его для женщин, верьте мне, он чувствует их великолепно, а вне и без женщин ни одна долгосрочная комбинация в разведке нереальна – особенно теперь, когда фюрер ушел и нам предстоит поднять нацию из руин. Примат национальной идеи привел нас к краху. Что ж, сделаем выводы. Наша новая ставка будет ставкой на дело, которому мы подчиним дисциплину немецкого духа. Дело – сначала, величие нации – после, как результат новой доктрины. Американцы состоялись именно на этом, и за нами Европа, а это, если подойти к делу по-новому, посильнее, чем Америка. А всю черновую работу сделает «Шпинне»<sup>3</sup>, мы отладим нашу всемирную паутину, будущее – за будущим”.

Что ж, “Шпинне” работает славно, – подумал Кемп, продолжая слушать Кирзнера и Кристу, – можно только поражаться, какую силу мы набрали за эти полтора года, если Гаузнер, представитель растоптанных и униженных немцев, смог оказаться здесь, в Мадриде, сразу же после того, как вернулся Роумэн, имеющий все права и привилегии для передвижения по Европе, – еще бы, “союзник”, победитель, хозяин...

Гелен не отправил бы Гаузнера по нашим каналам, он слишком мудр и осторожен, чтобы светить своих людей транспортировкой покойника, а Гаузнер, который сейчас ломает Роумэна, – покойник, ему осталось жить считанные часы, чем скорее он сломит американца, тем быстрее умрет. Вот ужас-то, – подумал Кемп с каким-то затаенно веселым, но при этом горестным недоумением. – Впрочем, – сказал он себе, – все действительно разумно – так, кажется, говорил основатель враждебной идеологии? Да, это, конечно, ужасно, да, я, видимо, долго не смогу засыпать без снотворного после того, что должно случиться, но сначала общее дело, а уж потом судьба личности; все то, что не укладывается в эту жестокую, а потому логичную схему, – чуждо нам, идет от другой идеи, а ее никогда не примут немцы, их государственно-духовная общность.

...А Пепе хорош, ничего не скажешь... Темная лошадка, а не человек... Что я знаю о нем? Мало. Практически – ничего, потому что я не мял его, он пришел на связь от генерала; “профессионал, работает автономно, иностранец, чужд национальной идее, в деле проявляет себя мастерски”. В конечном счете генерал знает, кого привлекать, я не вправе судить его посланцев, если прислал – значит, так надо, все остальное – приладится, главное – незабываемая и убежденная вера в авторитет того, кто стоит над тобой. К вершинам прорываются самые достойные, остальные гибнут внизу при горестной попытке подняться, перескочив ступени. Мир трехслоен: единицы – вверху, миллиарды – внизу; но среди миллиардов есть те, которые довольствуются достигнутым, – а их подавляющее большинство, ибо создатель далеко не всех наградил смелостью дерзать, – и меньшинство рвущихся наверх. Это меньшинство претенци-

---

<sup>3</sup> «Шпинне» (нем. «Паук») – тайная организация СС, созданная Скорцени в марте 1945 года. О. Скорцени был родственником президента имперского Рейхсбанка Ялмара Шахта, оправданного в Нюрнберге; связи Шахта с американским капиталом начались еще в 1918 году.

озных индивидов так или иначе обречено на уничтожение – балласт, общество не терпит претенциозности».

«Нет, но каков Кирзнер», – снова подивился Кемп, прислушиваясь к тому, как коллега тянул свое:

– Милая фройляйн, если вы настаиваете на том, что в предложенных обстоятельствах самое верное – броситься к любимому, я снова начинаю сомневаться в вашей искренности. Не надо, не сердитесь, я хорошо запомнил, что вы математик по призванию, поэтому я подстроюсь под ваш строй мыслей и докажу вам: либо вы своенравничаете, отказываясь принять мое предложение, либо что-то таите... Ну, давайте, анализировать состояние женщины, которую похитили, и во имя ее спасения – вы, понятно, догадываетесь об этом – любимый пошел на что-то такое, что выгодно его врагам, но никак не выгодно ему, ничего не напишешь, во имя любви на заклятие отдавали империи, не то что свое “я”. И вы хотите – при мне, Пепе и Гаузнере, который сейчас сидит у Роумэна и позвонит к нам через минуту, от силы две, – броситься на шею любимому? Это плохой театр, милая фройляйн, а я кое-что понимаю в театре, я, изволите ли знать, актерствовал в молодости. Смысл сцены, если она претендует на то, чтобы остаться в памяти потомков, заключен в контрапунктах, построенных по принципу математики: идти к правде от противного... Вы ни в коем случае не броситесь к Роумэну, а, наоборот, истерически засмеетесь. Лишь тогда он вам поверит, лишь тогда он не заподозрит вас в том, что вы в сговоре с нами и что мы играем одну пьесу. Это слишком прямолинейно: делать шаг к любимому. Это – провинциальный театр, милая фройляйн... А в провинциальные театры не ходят...

– Ходят. На бенефис «звезды».

– Ого! Считаете себя «звездой»?

– Я считаю себя женщиной. Этого достаточно. И я лучше вас знаю, чему он поверит, а чему нет.

– Я был бы рад согласиться с вами, если бы речь шла просто о мужчине, милая фройляйн. Но Роумэн – разведчик. Причем разведчик первоклассный, таких мало в Америке, у них либо костоломы Гувера, либо еврейские слюнтяйчики Донована... Так что давайте уговоримся: после того как вы останетесь одни, ведите себя как хотите, говорите ему что угодно, – это за вами... Но встречу с милым будем играть в моей режиссуре...

– Когда мы останемся одни... Если мы останемся одни, – уточнила Криста, – я вам не очень-то верю, мой господин. Я имею право сказать Роумэну про эту нашу репетицию?

– Да. Почему бы нет? Разве можно что-то таить от партнера, который держит вас не умом, а мужскими статьями? – Кирзнер усмехнулся, снова посмотрев на часы, и обернулся к Пепе:

– Дружочек, пожалуйста, позвоните к портье мистера Роумэна, там сидит наш приятель, возможно, у американца что-то с телефоном? Пусть проверит, хорошо?

Пепе поднялся, и снова Криста заметила в его глазах что-то особенное, вспыхивающее – тоску или, быть может, страх?

Проводив его спину немигающим взглядом, Кирзнер приблизился к Кристе, поманил ее к себе тонким пальцем и шепнул:

– Вы можете рассказать ему все, кроме того, что вы сейчас сделаете...

– А что я сейчас сделаю? – спросила Криста.

– Вы подпишете обязательство сообщать нам и впредь о каждом шаге мистера Пола Роумэна и выполнять те наши просьбы, с которыми мы к вам обратимся как к миссис Роумэн.

Кирзнер достал из кармана три экземпляра идентичного текста и вечное перо.

– Вот, – сказал он. – Это надо сделать сейчас.

– Я это сделаю, когда вернется Пепе и скажет, что с телефоном у мистера Роумэна ничего не случилось и мы можем ехать к нему играть ваш спектакль.

– Такого рода документы, милая фройляйн, подписывают только с глазу на глаз.

– Вы отправите Пепе посмотреть, не прилетел ли на кухню черт. Или генералиссимус Франко. На метле и в красных носках. В это время я подпишу ваш текст. Только перед этим я хочу услышать голос Роумэна и сказать ему, что я к нему еду.

– Хм... Я вынужден согласиться с вашими доводами, – сказал Кирзнер. – Хотя мне очень не хотелось бы с вами соглашаться. Вы жесткая женщина, а? – и он засмеялся своим колышущимся, добрым смехом.

«Подпишет, – понял Кемп, – с этой все в порядке, сработано накрепко, привязана на всю жизнь; даже если решит признаться ему во всем, он перестанет ей верить; она понимает, что Роумэн не сможет переступить свою память».

## Штирлиц. (рейс Мадрид – Буэнос-Айрес, ноябрь сорок шестого)

- Что, в самолете не чисто? – спросил Ригельт, – Отчего вы конспирируете?
- Оттого, что представляю разгромленную армию. А вы живете под своим именем?
- Конечно!
- Вас минула горькая чаша ареста?

– Три месяца я провел вместе со Скорцени... В мае сорок пятого мы никак толком не могли сдать американцам, те гоняли колонны вермахта по дорогам вокруг Зальцбурга. Ах, как они пили, эти янки! Отвратительно, по-животному, из горлышка своих плоских бутылок, остатки предлагали нашим солдатам и хохотали: «Пейте, парни, сегодня ночью мы все равно всех вас перевешаем!» Наконец, Скорцени, штурмбаннфюрер СС Радль и я кое-как уговорили янки взять нас в плен: мне пришлось объяснять, кто такой Скорцени, чтобы они согласились посадить его в джип... Смешно и горько... Когда вы в последний раз видели Скорцени, дорогой Штирлиц?

- Браун.
- Вы не прошли проверку?
- Нет.
- Живете нелегально?
- Да.
- Тогда – простите великодушно... Сытый плохо понимает голодного.
- Учили русский?
- Я? Почему? Никогда!
- Это русская пословица: «Сытый голодного не разумеет».
- Знаете русский?
- Немного... Почему вы спросили, когда я видел Скорцени в последний раз?

– Вы бы его не узнали: так он подсох и еще больше вытянулся... Мне пришлось устроить пресс-конференцию, чтобы на него хоть кто-нибудь из американцев обратил внимание... Я сказал им, что мой шеф – человек, который должен был похитить Эйзенхауэра во время Арденнского прорыва... Только тогда они, наконец, доперли, что это Отто освободил Муссолини... Ну, отношение после этого сразу изменилось – взрослые дети, падки на имя и сенсацию, слушали открыв рты... Потом я подбросил американскому полковнику Шину новую идею: мол, именно Скорцени вывел фюрера из Берлина... Тут они совсем ошалели, допросы за допросами, но уже с соблюдением уважительного политеса. Поняли, наконец, кто перед ними... Переводил, конечно, я, мы так уговорились с Отто, не думайте, что это была моя инициатива, – вот они меня и освободили...

- Когда?
- Да летом же сорок пятого!
- А Скорцени?

– В основном – избежать самосуда или выдачи макаронникам – мы выиграли, он стал **персоной**, со всеми вытекающими отсюда последствиями... А потом его отправили в Висбаден, на улицу Бодельшвинг, там разместился штаб янки... Прискакали британцы, ревнивые, как черти... Загоняли в угол вопросами по поводу калийных шахт с культурными сокровищами в Линце, которые мы должны были взорвать, когда этого не сделал Кальтенбруннер, чтобы не отдать янки Рафаэля и Рубенса. Отто прекрасно им ответил: «Да, действительно, мы должны были взорвать входы в шахту специальными фугасами, на которых стояло клеймо “мэйд ин Инглант”. Вы взрывали точно такие штуки в Голландии, Бельгии и Франции и не считали

это “военными преступлениями”. Победителям все можно, так?» Ну а потом нас рассадили, потому что Отто поместили в одну камеру с доктором Эрнстом Кальтенбруннером, они жили вместе пять дней, с глазу на глаз; всех нас турнули – янки соблюдают табель о рангах...

Ригельт не знал и не мог знать, что накануне того дня, когда Скорцени перевели в помещение, где содержался начальник имперского управления безопасности Эрнст Кальтенбруннер, «любимца фюрера» вызвал не капитан Бовиаш, обычно допрашивавший его, а незнакомый штандартенфюреру полковник с седым бобриком и почти таким же, как у Отто, шрамом на лице.

– Я ваш коллега, Скорцени, потому разговор у нас будет совершенно открытым, следовательно, кратким. О’кей?

Говорил он по-немецки почти без акцента, на очень хорошем берлинском, видимо, работал в посольстве, слишком отточен язык, несколько отдает мертвечиной: Скорцени, как и Кальтенбруннер, любил австрийский диалект, сочный, красочный, но при этом резкий, как выпад шпаги.

– О’кей, – ответил Скорцени. – Это по-солдатски.

– По-солдатски? – задумчиво переспросил полковник. – Нет, само понятие «по-солдатски» неприложимо к людям, носившим черную форму. И давайте не будем дискутировать на эту тему: вашу позицию по поводу «неукоснительного выполнения присяги» и «повиновения приказу начальника» оставьте для мемуаров. Вы отдаете себе отчет в том, что подлежите суду как ближайший пособник главных нацистских военных преступников?

– Я могу ответить только абзацем из будущих мемуаров, – усмехнулся Скорцени. – Я выполнял свой долг и подчинялся не преступникам, а людям, с которыми Соединенные Штаты до декабря сорок первого поддерживали вполне нормальные дипломатические отношения.

– Верно, – поморщился полковник, – все верно, но это для суда. А я не посещаю судебные заседания, я передаю судьям человека, признавшегося в совершенных преступлениях или же избалованного в них. И – умываю руки. У меня не вызывает содрогания образ Понтия Пилата, он не был злодеем, судил по совести, никто не вправе вменить в вину ошибку, – с кем не случается. Не ошибись он, кстати, не было бы в мире Христа; люди чтут мучеников, особенно безвинных. Вопрос в другом: вашей выдачи требуют не только итальянцы, но и чехи, поляки, венгры и русские. Каждый из них вздернет вас, вы отдаете себе в этом отчет?

– Вполне.

– Наконец-то я получил ответ, который меня вполне устроил. Боитесь смерти?

– Нет.

– Правда? Тогда идите в камеру и собирайте пожитки. Меня не интересуют психи. Люди, лишенные естественного страха смерти, – психи. Разведке от них нет пользы.

– Хотите что-то предложить мне?

– Я предлагаю здоровым людям, Скорцени. Итак, еще раз: вы боитесь смерти? Я имею в виду повешение в маленькой камере, без свидетелей, один на один с палачом?

– Боюсь. Вы правы. Боюсь.

– Ну и прекрасно. Вопрос не для протокола: Гиммлер вам поручил создание тайной сети «Шпинне», которой вменялось в обязанность восстанавливать Третий рейх после его крушения?

– Рейхсфюрер мог отдать такого рода приказ только двадцать седьмого апреля, после того как он предал Гитлера, решив вступить с вами в прямые переговоры. Я в это время был в Зальцбурге, а он на севере.

– Вы настаиваете на этом своем показании?

Скорцени усмехнулся:

– Вы же сказали, что мы беседуем без протокола?

– Верно. Но, как разведчик, вы прекрасно понимаете, что наша беседа записывается. Итак, вы настаиваете на этом своем показании?

– Бесспорно.

– Вы знаете штурмбаннфюрера СС Хёттля?

– Да.

– Кем он был?

– Связным офицером доктора Эрнста Кальтенбруннера.

– У вас нет оснований не доверять ему?

– Нет.

– Что вы можете сказать о нем?

– Это был офицер, верный присяге.

– О'кей, – вздохнул полковник. – Сейчас я приглашу его к нам. Не возражаете?

– Наоборот. Я рад этой встрече. Он содержится здесь же?

– Нет. Он доставлен сюда из своего особняка. Он живет в Бад-Ауозе, там же, где работал последний год при Гитлере. Только он приобрел – с нашей помощью – новую виллу, ближе к набережной.

Полковник снял трубку телефона, попросил «пригласить доктора Хёттля», поинтересовался, курит ли Скорцени, хватает ли сигарет, как кормят, не душно ли в камере, корректны ли охранники. Ответы узника – весьма обстоятельные, Скорцени в этом смысле был немцем, а не австрийцем – слушал рассеянно, разглядывая короткие ногти на крепких, боксерского склада пальцах.

Когда дверь отворилась и вошел Хёттль – в прекрасно сшитом костюме, тщательно выбритый, принес с собой запах, видимо, очень дорогого английского одеколona, – полковник поднялся, протянул ему руку, предложил место рядом с собой и спросил:

– Господин Хёттль, вы знаете этого человека?

– Конечно, мистер Боу...

Полковник перебил его:

– Я здесь аноним, господин Хёттль, я еще не убежден, что у меня получится разговор со Скорцени... Так что, пожалуйста, без фамилии.

– Да, конечно, господин полковник, – дружески улыбнулся Хёттль, по-прежнему не глядя на Скорцени.

– Кто этот человек?

– Штандартенфюрер СС Скорцени.

– Вы давно знакомы?

– Вечность.

Полковник засмеялся:

– А еще конкретнее?

– Лет двадцать как минимум.

Полковник обернулся к Скорцени:

– Вы подтверждаете это?

– Да.

– Господин Хёттль, а теперь, пожалуйста, расскажите, что вы знаете об организации «Шпинне». Когда она была создана? Кто ее возглавлял? Цели? Сеть? Возможности?

– Лучше бы это сделал штандартенфюрер Скорцени. Он был назначен фюрером «Шпинне», он знает все детали.

– Ну как, Скорцени? – спросил полковник. – Вы расскажете, или мы будем просить помочь нам господина Хёттля?

Скорцени вздохнул, пожал плечами:

– Мне горько слушать вас, Хёттль. О чем вы? Какой паук? Проигрывать надо достойно. Разве можно так ронять достоинство германского офицера?

– Мы его потеряли, надев черную форму, Отто, – ответил Хёттль.

– Так сняли бы! Мы никого не неволили, – усмехнулся Скорцени. – И начали бы борьбу против нас!

– Он начал борьбу против вас своевременно, Скорцени, – заметил полковник. – Он начал ее в сорок четвертом, когда до конца понял, что из себя представляет Эйхман. Не так ли, господин Хёттль?

– Да, Отто, это так. Я был в черной форме, но я вел борьбу против Гитлера.

Полковник кивнул:

– Господин Хёттль сотрудничал с Даллесом с зимы сорок пятого, Скорцени. Продолжайте, пожалуйста, Хёттль. Помогите бывшему штандартенфюреру **вспомнить**.

– Организация «Шпинне» была самой законспирированной в СС. Насколько мне известно от Кальтенбруннера, штандартенфюрер СС Скорцени получил приказ о своем назначении в феврале сорок пятого, но кто именно отдал ему этот приказ – лично Гиммлер, Шелленберг, а может быть, и сам фюрер, я затрудняюсь сейчас ответить. Но я утверждаю, что Скорцени получил в свое распоряжение значительное количество людей, обладающих явками, денежными средствами и связями в Испании и Аргентине. Ближе всех к Скорцени стоял Рихард Шульце-Коссенс, бывшая руководительница германского Красного Креста фрау Луиза фон Эртцен, оберштурмбаннфюрер СС Дитрих Цимссен...

– Это какой Шульце-Коссенс? Офицер разведки, прикомандированный к штаб-квартире фюрера в «Вольфшанце»?

– Именно.

– Он был последним адъютантом Гитлера?

– Совершенно верно.

– А Цимссен?

– Офицер разведки лейб-штандарта СС «Адольф Гитлер».

– Хм... С этим я еще не говорил...

Скорцени снова вздохнул:

– Ах, бедный, дорогой, наивный Хёттль... Никогда еще предательство не приводило к добру, а уж оговор – тем более.

– Перестаньте, Скорцени, – отрезал полковник и достал из портфеля пачку документов. – Тут есть ваши подписи... Как фюрера «Паука». Можете ознакомиться. Спасибо, господин Хёттль... Как вас устроили?

– Прекрасно.

– Завтра вам придется побыть в Висбадене, а в пятницу мы перекинем вас в Зальцбург. До свидания и еще раз спасибо.

Проводив взглядом Хёттля, полковник поднялся, походил по кабинету, забросив короткие руки за крепкую спину, остановился перед столом, написал что-то на листке бумаги, показал написанное Скорцени: «Я предложу вам сотрудничество еще раз, но вы достойно откажетесь от моего предложения», сложил бумагу, тщательно уравнил ее ногтем и спрятал в нагрудный карман.

– Ну вот, Скорцени... Карты на столе, от вас зависит решение... Либо мы передадим вас русским – они с вами чикаться не станут, либо вы согласитесь на сотрудничество с нашей службой.

«А что, если после моего зафиксированного звукозаписью отказа, – подумал Скорцени, – они и в самом деле выдадут меня русским? Что, если он играет мной, этот седоголовый? Такое вполне можно допустить, янки берут не силой, а коварством. Хорошо, а если я скажу ему, что мне надо подумать? Каждое мое слово записывается, Хёттль раскололся, я в ловушке... Но ведь

просьба отложить разговор может трактоваться будущими историками как косвенное согласие на вербовку... Вправе ли я упасть лицом в грязь, я, Отто Скорцени, освободитель Муссолини, любимец фюрера, герой рейха? А дергаться в петле я вправе? Время, всегда надо думать о времени, выигрыш времени равнозначен выигрышу сражения – аксиома. В воздухе носится то, о чем говорил фюрер: союзники передерутся, Трумэн никогда не уживется со Сталиным. Кто тогда будет нужен Трумэну, чтобы спасти Европу от большевизма? Мы, солдаты рейха, мы – больше эта задача никому не по зубам. Поверить этому седому? В конечном счете я могу согласиться на сотрудничество, если действительно пойму, что меня выдают русским, но я скажу об этом братьям по СС, и они задним числом санкционируют этот поступок, ибо и в логове янки я стану работать на нас, на будущее немцев».

Поняв, что он нашел оправдание себе, ощутив какое-то расслабленное успокоение и одновременно брезгливость к себе, Скорцени ответил:

– Я никогда ни с кем не пойду ни на какое сотрудничество.

– Хм... Что ж, пеняйте на себя... Но ответили вы как солдат. Едем.

– Куда? – спросил Скорцени, ощутив, как внутри у него все заглохло; голос, однако, его не выдал – был по-прежнему спокоен.

– Я приглашаю вас на ужин. Пусть ваш последний ужин в жизни пройдет лицом к лицу с вашим врагом.

Он привез Скорцени на вокзал, забитый американскими солдатами – шумно, весело, угарно; тут же, конечно, никакой записи быть не может (ее действительно не было); в офицерском буфете было, однако, пусто; полковник заказал по стэйку<sup>4</sup>, пива и московской водки, пояснив, что русские союзники в Берлине отдали большую партию чуть не за полцены, не знают бизнеса – именно сейчас, на гребне **братства**, надо было б продавать втридорога.

После первой рюмки полковник жадно набросился на мясо, но его манера не была Скорцени отвратительна, потому что он видел в этом характер человека: кто быстро и сильно ест, тот умеет принимать решения, а это дано далеко не многим.

– Знаете, я довольно давно изучаю прессу и радиoprogramмы Геббельса, – расправившись со стэйком, продолжил полковник, отхлебнув сухого, беспенного, какого-то вялого американского пива. – И чем дольше я изучал Геббельса, тем яснее мне становилось, что он таил в себе постоянное, глубоко затаенное зерно ужаса перед фюрером... Видимо, поэтому он так безудержно лгал, извращал факты, переворачивал явления с ног на голову, чтобы доказать любой – самый вздорный – постулат Гитлера... Я поднял его досье... Вы знаете историю доктора Геббельса?

– Меня интересовало будущее, полковник... Когда воюешь, постоянно думаешь о будущем, то есть о жизни... В историю обрушиваются только после побед...

– И поражений. Причем я затрудняюсь сказать, после чего нации охотнее всего растворяются в истории, может быть, даже после поражений... Так вот Геббельс. В принципе Гитлер как фюрер государства должен был судить его за каждодневную дезинформацию, ибо хромой уверял народ в неминуемой победе даже тогда, когда кончился Сталинград. И народ верил ему – врать он умел талантливо, он по призванию не пропагандист, а драматический актер, он верил своей лжи, он бы Отелло мог сыграть, право... Я посещал его публичные выступления, знаю, что говорю... Я видел напор, атаку, взлет, но каждый раз во время его речей – а я сидел в ложу прессы, близко от него, – я порой замечал в его пронзительно-черных, круглых глазах ужас. Да, да, ужас... Он вспыхивал и моментально исчезал... Но он вспыхивал, Скорцени... Просмотрев в Нюрнберге досье, которое мы на него собрали, я порадовался своей наблюдательности... Нет, я не хвастаюсь, это в общем-то не в характере американца, мы прагматики, а хвастовство слишком женственно, это угодно поработенным народам, лишенным права на

<sup>4</sup> Стэйк (англ.) – кусок жареного мяса.

свободу поступка... Вам известно, что наиболее талантливым оратором, громившим Гитлера в середине двадцатых годов, был именно Геббельс?

– Этого не может быть, – отрезал Скорцени, сделав маленький глоток пива. – Не противопоставляйте его пропаганде – свою, это недостойно победителей.

– Изложение фактов – пропаганда?

– Вы пока еще не назвали ни одного факта.

– Назову... Имя Штрассера вам, конечно, знакомо?

– Вы имеете в виду изменника или эмигранта?

– Изменником вы называете истинного создателя вашей национал-социалистской рабочей партии Грегора Штрассера?

– Истинным создателем партии был, есть и останется фюрер.

– А вот это как раз пропаганда. Я дам вам архивы, почитаете... Архивы, Скорцени, страшнее динамита... Именно поэтому – и я понял, что вы догадались об этом, – мы приехали сюда, на вокзал, из-под записи, чтобы ничего не попало в архив: я дорожу вами, потому что вы уже Скорцени... А когда Гитлер начинал, он был Шикльгруббером, вот в чем беда... И состоял на **контакте** у капитана Эрнста Рэма – в качестве оплачиваемого осведомителя... Не надо, не дышите шумно ноздрями, я же сказал – вы познакомитесь с архивами... Я нарочито огрубляю проблему, называя фюрера осведомителем политического отдела седьмого, баварского то бишь, округа рейхсвера. Скорее Шикльгруббер был неким агентом влияния, он работал в маленьких партиях, освещая их Рэму, который руководил всеми его действиями... Вы не слышали об этом, конечно?

– Я слышал... Это ваша пропаганда...

– Если прочитаете документы – измените свою точку зрения или останетесь на своей позиции?

– Если документы истинны, если я смогу убедиться – с помощью экспертиз, – что это не ваша фальшивка, я соглашусь с правдой, но во имя будущих поколений немцев я никогда – публично – не отступлюсь от того, чему служил.

– То есть, вы покроете проходимца только потому, что вы ему служили?

– Не я. Нация. Нельзя делать из немцев стадо баранов, даже если фюрер и был, как вы утверждаете, на связи у изменника Рэма.

– Факты измены Рэма вам известны? Или предательство Штрассера? Не надо, Скорцени, не прячьтесь от себя... Я продолжу про Геббельса, иначе мы с вами заберемся в дебри, а я вывез вас с санкции охраны на два часа – фактор времени, ничего не напишешь. Так вот, после ареста Гитлера, когда он сидел в ландсбергском «санатории» – так называли тюрьму, где он отбывал год после мюнхенского путча двадцать третьего года, – братья Штрассеры обосновались в Руре и начали битву за рабочий класс, партия-то была «рабочая» – как-никак... И, между прочим, преуспели на севере Германии. Но более всего им там мешал блестящий оратор, представлявший интересы «Дойче фолкспартай» – доктор Йозеф Геббельс. Он поносил нацистов и Гитлера с такой яростью, он произносил такие страстные речи против вашей идеи, что Штрассер пошел ва-банк: узнав, что Геббельс нищенствует, живет на подаяния друзей, он предложил ему пост главного редактора газеты национал-социалистов с окладом двести марок. И Геббельс принял это предложение. Более того, он стал личным секретарем Грегора Штрассера. Об этом вам известно?

– Я не верил.

– Но слышали об этом?

– Да.

– И о том, что Гиммлер был личным секретарем «эмигранта» Отто Штрассера, тоже слышали?

– Я знаю, что Гиммлер руководил ликвидацией изменника Грегора Штрассера и санкционировал охоту за эмигрантом Отто. Про другое – не знаю.

– Не знаете, – задумчиво повторил полковник. – Еще водки?

– Нет, благодарю.

– Пива?

– Если можно, кофе.

– Конечно, можно, отчего же нельзя...

Полковник попросил принести кофе, достал алюминиевую трубочку, в которой был упакован кубинский «умпан», раскурил толстую сигару и вздохнул:

– По профессии я адвокат, Скорцени. Моя проблематика в юриспруденции любопытна: защита наших нефтяных интересов в Латинской Америке. Я провожу с вами эту беседу потому, что меня интересует ваша концепция национализма... Что это за феномен? Однозначен ли он? В Латинской Америке вот-вот произойдет взрыв национальных чувствований, а мы к этому, увы, не готовы. Вот я и решил проработать эту проблему с вами – австриец, отдавший свою жизнь немцам.

– Я не знаю, что такое «австриец», – сразу же ответил Скорцени, – такой нации не существует. Есть диалект немецкого языка, австрийский, а точнее говоря – венский. С этим смешно спорить, а нации не существует, это чепуха.

– Хм... Ладно, бог с вами, – усмехнулся полковник. – Давайте я, наконец, закончу с Геббельсом... Вам известно, что именно он предложил исключить из партии Гитлера? В двадцать пятом году? И его поддержали, помимо братьев Штрассеров, гауляйтеры Эрик Кох, Лозе, Кауфман?

– Дайте архивы, – повторил Скорцени. – Я не могу верить вам на слово, это опрокидывает мою жизненную позицию...

– Дам... Но я это все к тому, что Геббельс – при том, что умел великолепно говорить речи, – все же был дерьмовым пропагандистом и большим трусом. Как и Геринг, Гиммлер, Лей, да и вся эта камарилья. Каждый из них понимал, что животный антисемитизм Гитлера, как и его постоянные угрозы капиталу, раздуваемые, кстати, Геббельсом, не позволят Западу серьезно разговаривать с ним. Если бы Геббельс не был **замаран** грехами молодости по отношению к Гитлеру, у него бы хватило смелости скорректировать политическую линию фюрера, и единый фронт против большевизма был бы выстроен в тридцатых годах... Он, фюрер, держал подле себя замаранных, Скорцени, он их тасовал, как замусоленные карты... Так вот, единый фронт – если всерьез думать о будущем – придется налаживать вам... Вам и вашим единомышленникам – не тупым партийным функционерам, чья безмозглость и безынициативность меня прямо-таки ошарашивают, не палачам гестапо – но состоявшимся немцам... Не думайте, что у нас многие поймут мой с вами разговор: беседа с нацистским преступником Скорцени в Вашингтоне многим не по вкусу... Я рискую, разговаривая с вами, Скорцени, я поступаю против правил, против наших правил, потому-то я и не хотел, чтобы наш разговор писали... Его бы потом слушали марксистские еврейчики, которых привел в ОСС президент Рузвельт... Или русские, вроде Ильи Толстого, – его тоже пустили в нашу разведку... Да его ли одного?! Словом, готовы ли вы сотрудничать со мной и моими единомышленниками? Если да, то я смогу уже сейчас освободить ваших доверенных людей, не столь заметных, как вы... Ваш черед наступит позже... Если нет – я умываю руки.

– Шульце-Коссенс у вас?

– Да.

– Сможете освободить его?

– Постараюсь.

– Ригельта?

– Этот болтун? Ваш адъютант?

- Он не болтун. Он знает свое дело.
- Вам не кажется, что он трусоват?
- Нет. Он играл эту роль – с моей санкции.
- Хорошо... Я попробую освободить его.

– Я назову еще двух-трех людей, которые будут полезны нашему делу, если они окажутся на свободе.

– Но не больше. И пусть принимают мои условия, подготовьте их к этому. Офицерские сантименты оставьте для будущих книг, сейчас надо думать о деле, земля горит под ногами, Скорцени... А Кальтенбруннера с Герингом вы все равно не спасете. Как не стали бы спасать Геббельса – по прочтении архивов, которые я вам передам завтра. Балласт есть балласт: все, что мешает дороге вверх, должно быть отброшено, не терзайтесь муками совести...

Той же ночью Скорцени перевели в камеру Кальтенбруннера. Быть провокатором он не собирался, считая, что лучше покончить с собой; его, впрочем, об этом полковник и не просил; наоборот, посоветовал: «Будьте самим собой. Меня интересует всего-навсего психологический портрет Кальтенбруннера. Говорите с ним о чем хотите... Вы же единственный, с кем он будет чувствовать себя раскованно, поймите ситуацию правильно».

...Ничего этого, естественно, Ригельт не знал.

Но он помнил, что после того как он дал подписку о работе на американскую секретную службу и получил свободу, возможность выехать в Португалию, службу в местном филиале ИТТ, его ни разу ни о чем не просили: резерв есть резерв, ожидание своего часа.

Его удивил сегодняшней неожиданный, лихорадочно-торопливый визит связника; назвал пароль от Скорцени, известный только им двоим; говорил по-немецки с варварским испанским акцентом; передал приказ: сесть в самолет, следующий рейсом Лиссабон – Дакар – Рио-де-Жанейро – Буэнос-Айрес, положил на стол билет, поручил встретить там человека: «Вот его фото; он здесь, правда, в форме, постарайтесь его запомнить, возможно, он изменил внешность». – «Погодите, но ведь это Штирлиц!» – «Тем лучше, это прекрасно, что вы знакомы, едем в аэропорт, время, цейтнот!»

Задание показалось ему таким незначительным, несколько даже унижительным, что первый час, проведенный в разговоре с «Брауном», он чувствовал себя не самым лучшим образом, слишком много и беспричинно смеялся, захлебываясь, пил виски, рассказывал отвратительные в своей грубости солдатские анекдоты, пока, наконец, не обвыкся с ситуацией и начал думать, как выполнить приказ, отданный фюрером «Шпинне».

Фюрер «Шпинне» еще находился в американской тюрьме – работал; только-только кончился Нюрнберг, там Скорцени встречался с Герингом; новые руководители продолжали готовить достойную мотивацию для его освобождения – слишком одиозен, будет много шума, если отпустить без достаточных на то оснований.

Все связи Скорцени контролировали люди Макайра.

Финансировали связников люди полковника Бэна, ИТТ.

Гелен, зная все, наблюдал, инфильтруя в цепь американцев своих людей; работал крайне осторожно, понимал всю сложность сцепленностей, которые были завязаны в «Шпинне».

Тем не менее приказ Ригельту смог отдать он, через те свои контакты, которые ткали свою паутину, никак не замахиваясь на низовое руководство подпольем, которое наивно считало, что идет подготовка к схватке с американскими финансистами и московским интернационалом, а на самом-то деле работало – с той памятной ночи на Висбаденском вокзале – на секретную службу противника.

Впрочем, и в Вашингтоне руководству об этом не было известно – шокинг, грязь, потеря идеалов.

Только Аллен Даллес держал тонкие, мягкие пальцы на пульсе всего предприятия – идея-то чья? Его, конечно, кого же еще?!

Именно ему было необходимо, чтобы Штирлиц был под контролем; именно ему было нужно, чтобы немцы из «Шпинне» контактировали с ним; именно ему было необходимо и то, чтобы потом – подконтрольным – Штирлиц вновь встретился с Роумэном, а уж после этого вышел на контакт с русскими, – цепь замкнется, текст драмы будет окончен, останется лишь перенести его на сцену; такое зрелище угодно тем, кто думает о будущем мира так же, как он.

## Роумэн. (Мадрид, ноябрь сорок шестого)

Гаузнер отрицательно покачал головой:

– Я сострадаю вам – так выражались в старину, – но устная договоренность меня не сможет удовлетворить, Роумэн.

– Догадываюсь. Давайте я подпишу вашу бумагу.

Гаузнер снова покачал головой:

– Нет, я не ношу с собой никаких бумаг, это не по правилам. Ключ к коду напишите на отдельной страничке и сами сочините нужную мне бумагу.

– Диктуйте, господин Гаузнер. Я дам код и напишу все, что вы продиктуете, только сначала я хочу слышать голос Кристи. Мы с вами несколько заговорились, прошло тридцать две минуты, жива ли она?

– У вас плохие часы, Роумэн. Именно сейчас настало время звонка. – И Гаузнер достал из кармана большие часы самой дорогой фирмы – «Ланжин».

«Кажется, “Филипп Патек” ценится выше, – подумал Роумэн, – но у Гаузнера золотые, ими драться можно, боже, о чем я? Наверное, шок, меня всего внутри молотит, даже игра в предательство страшна, не только само предательство».

Гаузнер набрал номер, закрыв аппарат спиной, чтобы Роумэн не мог запомнить цифры, долго ждал ответа; Роумэн хрустнул пальцами: волнуется американец. «Смотри, как я волнуюсь, – подумал Роумэн, – я еще раз хрустну, я заработал ревматизм в ваших мокрых карцерах, суставы щелкают, как кастаньеты. Ты **возьмешь** это, Гаузнер, у тебя спина офицерская, с хлястиком, ты весь понятен со спины, радуйся, слушая, как я волнуюсь, ликуй, Гаузнер...»

– Алло, добрый вечер, можно попросить к аппарату сеньориту?.. Добрый вечер, сеньорита, – он говорил на чудовищном испанском, имен не произносил, конспирировал, – я передаю трубку моему другу.

Зажав мембрану ладонью («Этой же ладонью он гладит по голове свою дочь, – подумал Роумэн, – какой ужас, весь мир соткан из нравственных несовместимостей»), Гаузнер шепнул:

– Никаких имен и адресов. Пенять в случае чего вам придется на себя.

Роумэн кивнул, взял трубку, прокашлялся:

– Здравствуй, веснушка... Алло... Ты меня слышишь?

– Да.

– Ты не рада моему звонку?

– Почему же... Рада...

– Хочешь приехать сюда?

– Очень.

– Чапай. Жду тебя.

– Ты уже сделал все, что надо было?

– Почти. Остальное доделаем вместе. Здесь, у меня.

– Хорошо, еду.

– У тебя плохой голос.

– Я очень устала.

– Но ты в порядке?

– Да.

– Очень голодна?

– Очень.

– У меня есть сыр... И больше ничего. Заезжай по дороге в «Чиколете», возьми что-нибудь на ужин, хамона<sup>5</sup>, масла, булок, скажи Наталио, чтобы записал на мой счет, ладно?

– А вино у тебя есть?

– С этим – в порядке. Нет минеральной воды.

– Обойдемся.

– У тебя плохой голос, конопушка.

– Когда я увижу тебя, он изменится. Еду.

Роумэн положил трубку на рычаг, посидел мгновение в задумчивости, потом, снова хрустнув пальцами, обернулся к Гаузнеру («Нацисты сентиментальны, – говорил Брехт, – даже палачи там весьма чувствительны; манеру поведения они склонны считать характером человека, пользуйся этим, я советую, как режиссер, актер и драматург»).

– Я напишу все, что вы требуете, – сказал Роумэн, – когда увижу ее здесь. У нее очень плохой голос. Как и вы мне, я вам не верю. Согласитесь – у меня есть к тому основания.

Гаузнер кивнул:

– С этим – соглашаюсь. Пока будем ждать даму, проговорите мне текст документа, который вы намерены подписать.

– Я же сказал – диктуйте. Я подпишу все, что вы захотите.

– Вы подпишете все, что я захочу, для того чтобы сегодняшней ночью, получив любимую, отправиться в посольство и передать в Вашингтон содержание нашего разговора? И попросить срочно заменить код?

– Я отдаю себе отчет в том, что Криста будет постоянно находиться под прицелом, тем более если, как вы говорите, у вас есть ключ к действующему ныне коду.

– Да, но у вас есть возможность взять два билета и отправиться с нею в Вашингтон.

– Это довод. Но я выдвигаю контрдовод: если вы, раздавленный наци, паршивый немец...

– Но, но, но!

– Не перебивайте, господин Гаузнер, комплимент порой начинается с грубости, это самый сладкий комплимент, поверьте... Так вот, если вы, паршивый гитлеровец, раздавленный немец, смогли оказаться здесь, в Мадриде, миновав все пограничные барьеры, то, значит, и в Штатах ваша организация располагает весьма крепкой сетью... Разве я стану рисковать женщиной, которую – вы правы, увы, – люблю?

– Вы намерены жениться на ней?

– Это зависит от того, каким образом вы станете передавать мне гонорар за работу. Оплата будет сдельной или ежемесячной? В какой валюте? В каком банке?

Гаузнер не смог скрыть изумления:

– Какой гонорар?! Мы возвращаем вам женщину, Роумэн!

– Любая разведка оплачивает риск, господин Гаузнер. Отныне я стану рисковать жизнью. А моя жизнь кое-чего стоит. Вы отбираете у меня честь, компенсируйте ее отсутствие роскошью.

– Вас тогда немедленно разоблачат. Ваше финансовое ведомство тщательно следит за тем, кто живет по средствам, а кто скрывает доходы.

– Это уж моя забота, как я стану обходиться с федеральным ведомством по налогам, господин Гаузнер.

– Какой гонорар вы бы хотели получать?

– Не менее пяти тысяч швейцарских франков должны быть депонированы ежемесячно на счет моей жены в любом цюрихском банке...

– Я передам ваши условия, мистер Роумэн.

---

<sup>5</sup> Хамон (исп.) – сухая ветчина.

«Он клянул, – понял Роумэн. – Он назвал мистером впервые за весь разговор. Только сейчас я взял инициативу на себя, и это случилось, когда я упомянул о деньгах. Хорошо, что я не заговорил об этом раньше. Я опускаюсь по ступенькам вниз, это понятно ему, мы ж, прагматичные американцы, за деньги готовы на все, за золото продадим родину, не моргнув глазом, развращены финансовым капиталом – куда как понятно и ребенку... Что ж, они научат нас работать их методами – на их же голову; с волками жить, не с кем-нибудь...»

– Очень хорошо. Когда я могу ждать ответа?

– Скоро. Так же скоро, как я догнал вас здесь. А теперь давайте фантазировать текст. Он должен быть готов вчерне до приезда вашей подруги...

– Диктуйте, господин Гаузнер. Я сжег мосты. Диктуйте.

– Нет, я ничего вам не стану диктовать. Вы достаточно умный человек и вполне подготовленный профессионал, чтобы подсказывать вам то, что надо сказать.

– Наш разговор записывается?

– Конечно.

– По-моему, у вас достаточно материала, чтобы в случае нужды убедить мое руководство в том, что я раздавлен вами и на вербовку пошел добровольно.

– «Раздавлен». Вы подметили очень точно структуру нашего сегодняшнего собеседования, мистер Роумэн... Именно это меня никак не устраивает... Я хочу, чтобы вы фантазировали как мой союзник... Причем союзник, датированный не сегодняшним днем, такого рода альянс недорого стоит... Нет, вам придется напрячь память и вспомнить имена своих следователей в нашей тюрьме... Вам придется написать обращение к мертвецам... Человеческое обращение... В котором был бы слышен вопль замученного узника, который потерял себя после страшных допросов гестапо... Вы должны будете предложить свои услуги не мне, а им, Роумэн, им, в сорок третьем еще году... Вы должны будете, пока ваша подруга станет хлопотать на кухне, готовя для вас праздничный ужин, написать два рапорта о поведении ваших соседей по камере... Причем это я легко проверю, данные я вожу с собой, здесь, – он постучал себя по голове, – это надежнее бумаги, это – мое.

«Будет моим, – подумал Роумэн, – погоди, придет время, скотина».

– Этого я писать не стану, господин Гаузнер. У вас не хватит денег, чтобы оплатить унижение такого рода.

– Повторяю, мистер Роумэн, я вам глубоко сострадаю, но не вижу иного выхода. Карты на столе, темнить нет смысла: мне нужны гарантии; иных, кроме тех, о которых я упомянул только что, я не вижу. Встаньте на мое место, вы поймете меня.

Роумэн покачал головой:

– Нет, господин Гаузнер, я никогда не смогу понять этой логики. Зачем делать из агента заведомого врага? Я никогда не смогу простить вам такого унижения, к которому вы меня подталкиваете. Я бы на вашем месте не верил ни одному донесению агента, принужденного к сотрудничеству таким образом.

Гаузнер мелко засмеялся:

– Роумэн, откуда вы знаете; а может быть, мне и не нужны ваши будущие донесения? Может быть, моя цель заключается в том, чтобы дезавуировать то, что вами было передано в Вашингтон?

– Не вижу логики.

– Было бы плохо, имей вы возможность понимать мою логику. Итак, я жду...

Роумэн пожал плечами, закурил и, вздохнув, достал из кармана ручку.

– С вашего позволения, я пофантазирую на бумаге.

– Нет, вслух. Сначала вслух.

– Для записи?

– Да.

Роумэн поднялся, прошелся по холлу, ожидая запрещающего окрика Гаузнера; тот, однако, молчал; остановившись возле радиоприемника, он закурил, задумчиво ткнул пальцем в клавишу, на счастье **поймался** Мадрид. «Пусть моей фантазии сопутствует испанская песня, – подумал Роумэн, – недорого стоит такая фантазия...» Тяжело затаившись, он забросил руки за спину и начал неторопливо диктовать:

– Господин Цимссен, надеясь на вашу доброту, я готов дать чистосердечные показания на тех, к кому я был брошен Отделом стратегических служб Соединенных Штатов. Хочу сказать, что в случае, если ко мне не прекратят применять допрос с утрашением, я сойду с ума и никакой пользы в будущем не смогу вам оказать. Пол Роумэн.

– То, что надо, – сказал Гаузнер. – В десятку.

Обернувшись к кухне, он спросил:

– Как запись, мальчики?

Один из **квадратных** («Видимо, тот, что заходил сюда, – подумал Роумэн, – лица второго я не рассмотрел, он топал за Гаузнером, ни разу не обернувшись, неужели я встречал его где-то?») ответил:

– Отменно.

– Спасибо. А теперь, Роумэн, выключите, пожалуйста, радио, сядьте на место и повторите ваш текст еще раз – с испанским аккомпанементом это будет слушаться довольно нелепо, хотя голосом вы умеете владеть как хороший актер. И ходить не надо, в тюрьмах нет паркета, там цементные полы, как помните.

Роумэн остановился, словно взнуданный:

– Вы полагали, что я сам не выключу радио?! Вы же просили меня фантазировать! Я фантазировал. Вас устроило? Пишем.

Он выключил приемник, сел на табурет возле бара, снова тяжело затаившись, приготовился говорить, но потом оборвал себя:

– Нет, пожалуй, я все-таки продиктую это, когда моя подруга станет сервировать ужин на кухне.

– Там все слышно, Роумэн. Вы готовы пойти даже на то, чтобы она обо всем узнала?

– Видимо, вы и так ее посвятили во все.

– Ни в коем случае. Вам будет трудно с женщиной, которая видела ваше унижение.

– Хм... Разумно... Отведите ее на балкон... Как вы не верите мне, так и я не верю вам...

Гаузнер вздохнул:

– Ее не приведут сюда, пока я не получу то, что должен получить. Это условие.

– Что ж, уходите, Гаузнер. Но вы не сможете уничтожить запись нашего разговора. Я согласился на все. Я готов на все. Но я ставлю одно неперемное условие: Криста должна быть здесь. Мужчина и женщина, безоружные, – против трех вооруженных специалистов. Риска для вас нет никакого. Так что сейчас вы, господин Гаузнер, просто-напросто мстите за унижение, которое испытали давеча в Мюнхене, раскрыв мне все, что могли. Ваше руководство не простит вам потери такого агента, как я. Все. Вон отсюда, Гаузнер, вы мне отвратительны!

– Мальчики, – крикнул на кухню Гаузнер, побледнев еще больше. – Как запись?

– Запись идет нормально.

– Ну и прекрасно. Сотрите пассаж джентльмена, пожалуйста. Он мешает операции.

– Мальчики, – крикнул Роумэн, – как резидент американской разведки в Испании, я не советовал бы вам делать этого. У Гаузнера есть руководитель – он обязан знать все и слышать каждую нашу фразу. Да и потом, я не стану работать с Гаузнером в дальнейшем. Он омерзительен мне. Я сам выберу человека, с которым смогу сотрудничать без содрогания, господин Верен<sup>6</sup>... Да, да, мальчики, я обращаюсь именно к немецкому генералу Верену, имя которого

<sup>6</sup> «Господин Верен» – один из псевдонимов генерала Гелена.

мне открыл Гаузнер... Так что поверьте: вы испортите выигрышную для вас партию... Старый полумпотент клюнул на вашу наживку: да, я люблю Кристину, да, я готов ради нее на все, но всегда есть предел, который человек – даже предатель – преступить не в силах...

И в это время в прихожей зазвенел звонок.

Роумэн сорвался с места.

– Сидеть! – тихо сказал Гаузнер. – Сидеть, мистер Роумэн. Сидеть, пока я не позволю вам встать...

Роумэн обмяк в кресле, впервые за всю жизнь ощутив живот, раньше он никогда его не чувствовал – доска какая-то, а сейчас он сделался мягким и по-старчески сдвинулся вниз.

Он услышал мягкие шаги, какой-то тихий вопрос, потом дверь отворилась и воцарилась долгая тишина, только в висках гулко стучало и сердце ухало вверх и вниз, подолгу застревая в горле, а после он услышал голос:

– Пол.

Это был ее голос, усталый, какой-то пустой, очень тихий.

– Крис.

– Это я, Пол.

– Иди сюда.

– Иду.

«Она чуть косолапит, – подумал Роумэн, – это так прекрасно: так ходят маленькие, загребая под себя, когда только учатся держаться на ножках».

Криста вошла в комнату и остановилась возле косяка. За спиной стоял высокий черноволосый человек, разглядывавший Роумэна со скорбным, нескрываемым интересом; Роумэн видел его только одно мгновение, он сразу погрузился в прекрасные, сухие, тревожные, любящие глаза Кристины. Она сдерживалась, стараясь не разрыдаться, губы ее постоянно двигались, словно она хотела сказать что-то, но не могла, будто лишилась дара речи.

– Иди сюда, человечек, – сказал Роумэн, – иди, маленький...

Криста ткнулась ему лицом в грудь; руки ее как-то медленно, словно ей стоило огромного труда поднять их, скрестились у него на шее; ему показалось, что они вот-вот разожмутся и упадут бессильно.

– Все хорошо, конопушка, – сказал он, – все прекрасно... Тебя никто не обидел?

Она покачала головой; тело ее дрогнуло, но так было одно лишь мгновение; Роумэн почувствовал, как напряглась ее спина. «Сейчас она поднимет голову, – подумал он, – и посмотрит мне в глаза». Кристина, однако, головы не подняла, откашлялась и сказала:

– Я... Мы привезли хамона, как ты просил... И две булки... И еще кесо<sup>7</sup>... Самый сухой, какой ты любишь. И еще я попросила у Наталио десяток яиц, чтобы сделать тебе тартилью.

– Иди, приготовь все это, – сказал он. – Я освобожусь минут через двадцать. Даже раньше. И они уйдут.

Криста прижалась к нему еще теснее и покачала головой. По спине ее еще раз пробежала дрожь.

– Ну-ка, выйдите отсюда, Гаузнер, – сказал Роумэн.

– Я погожу отсюда выходить. Мне приятно наблюдать. Вы действительно очень подходите друг другу.

Роумэн почувствовал, как тело женщины стало обмякать. Он прижал ее к себе, шепнув что-то ласковое, несурзное.

– Выйдите, повторяю я, – еще тише сказал Роумэн. – Неужели вы не понимаете, что вдвоем умирать не страшно?

– Страшно, – ответил Гаузнер. – Еще страшнее, чем в одиночку.

---

<sup>7</sup> Кесо (исп.) – сыр.

– Ну-ка, идите ко мне, Гаузнер, – тихо сказал высокий из коридора. – Вы нужны мне здесь.

Тот деревянно поднялся; лицо его враз приняло иное выражение: вместо затаенного ликования на нем теперь была написана сосредоточенная деловитость. Роумэн оглянулся – даже спина Гаузнера сейчас сделалась иной, в ней не было униженности, подчеркнутой спортивным хлястиком («Что я привязался к этому хлястику, бред какой-то!»), наоборот, она была развернутой, офицерской, только лопатки очень худые – карточная система, маргарина дают крохи, да и те, верно, он себе не берет, хранит для дочери.

– Закройте дверь, Гаузнер, – так же тихо сказал Пепе. – Оставьте мистера Роумэна с его любимой наедине.

Роумэн взял лицо Кристи в свои руки, хотел поднять его, но она покачала головой; ладони его стали мокрыми. «Как можно так беззвучно плакать, – подумал он, – так только дети плачут; сухие волосы рассыпались по ее плечам, какие же они густые и тяжелые. Бедненькая, сколько ей пришлось перенести в жизни!»

– Все хорошо, человек, – повторил Роумэн. – Ну-ка, посмотри на меня.

– Нет. Дай мне побыть так.

– Ты не хочешь, чтобы я видел, как ты плачешь?

– Я не плачу.

– Маленькая, нас рядом на кухне пишут на пленку, так что, пожалуйста, погляди на меня и ответь: с тобой все в порядке?

Она подняла на него глаза, и в них было столько страдания и надежды, что у Роумэна снова перехватило горло.

– Ты все знаешь про меня? – спросила она.

– Да.

– Ты знаешь, что я работала на них?

– Да.

– И ты знаешь, как я работала на них?

– Знаю.

– И ты не хочешь прогнать меня?

– Я хочу, чтобы ты всегда была со мной.

– Ты будешь жалеть об этом.

– Я не буду жалеть об этом.

– Будешь.

Он поцеловал ее в лоб, в кончик носа, легко коснулся пересохшими губами мокрых щек, прикоснулся к ее губам, таким же пересохшим и потрескавшимся, легонько отстранил ее от себя, но она прижалась к нему еще теснее:

– Можно еще минуточку?

– Можно.

– Ты как аккумуляторчик – я заряжаюсь подле тебя.

– А я – от тебя.

– Я никогда и никого не любила.

– Ты любишь меня.

– Нет, – сказала она чуть громче, и он удивился тому, как громко она это сказала. – Просто мне с тобой надежно. Не сердись, это правда, и теперь ты можешь сказать, чтобы я убиралась отсюда вон.

– Зачем ты так?

– Я не могу тебе врать. Вот и все.

– Мне – нет. Себе – да, – сказал он и снова отодвинул ее от себя, но она, покачав головой, еще теснее прижалась к нему.

– Еще капельку. Ладно?

– Нет. Время, – сказал он. – Я люблю тебя.

– Ты... Не надо... Тебе просто... Я оказалась для тебя подходящей партнершей в посте...

Он ударил ее по щеке, оторвал от себя, вывел на балкон, сказал, чтобы она не смела входить в комнату, и отправился на кухню. Гаузнер, двое **квадратных** и тот, что привез Кристу, стояли возле диктофона.

– Как вас зовут? – обратился Роумэн к высокому, что привез Кристу.

– У меня много имен, мистер Роумэн. Сейчас я выступаю под именем Пепе. Я к вашим услугам.

– Если вы к моим услугам, то передайте вашему паршивому генералу, что я никогда и ни при каких обстоятельствах не стану работать с Гаузнером.

– И не надо, – вздохнул Пепе. – Работа – это всегда добровольно, мистер Роумэн. В разведке ничего нельзя добиться принуждением. У меня к вам только один вопрос. Можно? В знак благодарности за то, что я вернул вам Кристу, можно просить вас, чтобы вы не раскручивали то, что в Мюнхене вам открыл господин Гаузнер, проявив понятную слабость?

– Вряд ли. Так что кончайте всю эту историю, кричать я не стану.

– Вы делаете глупость.

– Скорее всего.

– Напрасно, мистер Роумэн. Я не из этой команды. Я работаю на тех, кто хорошо оплачивает мой труд. Я с симпатией отношусь к вашей подруге, она любит вас, мистер Роумэн. Она вас очень любит. Не глупите.

– Переквалифицируйтесь в священника, – сказал Роумэн. – Я сказал то, что хотел сказать. Кончайте эту хреновину, мне все надоело.

– Я слишком много грешил. И грешу. Так что в священники меня не возьмут, папа не утвердит, он очень блюдет кодекс нравственности. А что касается хреновины... Э, – он обернулся к квадратным, – отнесите эту аппарату в машину, что стоит у подъезда. И сразу отваливайте вместе с ними, они знают, куда ехать.

– Нет, – сказал Гаузнер. – Ждите, пока я спущусь. Если у тех людей, которые сидят в авто, возникнут какие-то замечания по записи беседы, поднимитесь и скажите мне.

– Можно и так, – согласился Пепе. – Топайте отсюда. И спросите, что делать с грузом... Как его отсюда вывозить...

– Вы что – сошли с ума? – Гаузнер резко обернулся к Пепе. – Вы не...

– Шат ап<sup>8</sup>! – сказал тот. – Делайте, что я вам сказал, парни. Теперь вы в моем подчинении, вас предупреждали?

Квадратные, взяв диктофон, молча ушли, не взглянув на Гаузнера.

Пепе дождался, когда дверь за ними закрылась – щелчок был сух и слышим, – достал из заднего кармана брюк пистолет, взвел курок, деловито наворачнул глушитель и, не говоря ни слова, выпустил три патрона – один за другим, не целясь, в Гаузнера.

– Мне очень понравилась ваша подруга, – пояснил Пепе Роумэну, не обращая внимания на то, как Гаузнер катался по полу, зажимая сухими ладонями крошечные черные дырки на животе. – И потом это, – он кивнул на затихавшего Гаузнера, – не моя инициатива, это было обусловлено заранее. Я должен был спросить, сделано ли дело, и, если он ответит, что сделано, мне предписали убрать беднягу. Он ответил, что сделано. Теперь от вас зависит дальнейшее развитие событий: либо вы платите мне больше, чем они уплатили, и мы занимаем круговую оборону, пока не приедут ваши люди из посольства, – полицию втягивать нельзя, сами понимаете, – он снова кивнул на вытянувшегося на кафельном полу Гаузнера, – либо вы пишете обязательство работать на них, датированное сорок третьим годом и подтвержденное сорок

---

<sup>8</sup> Шат ап! (англ.) – молчать!

шестым, я забираю эти бумажонки и желаю вам прийти в себя после пережитого... Только не верьте ей, когда она говорила, что не любит вас, мистер Роумэн. Она вас очень любит, я в этом убедился, когда они беседовали с ней.

– О чем? – спросил Роумэн, не отрывая глаз от Гаузнера («Его дочка слишком хорошенькая, чтобы выжить, – подумал он. – И он ее оберегал от мира; она тепличное растение, пойдет по рукам, наши ребята в Мюнхене ее не упустят, аппетитна». И поразился тому, что в его мозгу сейчас смогло родиться слово «аппетитна»: «Какой ужас, а?!»).

– О вас.

– Что они от нее хотели?

– Она отказала им.

– Что они хотели от нее?

– Они пытались высчитать вас – через нее. Она им лгала. Она сказала, что не любит вас, мол, хороший партнер в постели – и все. А они ей сказали, что она врет, потому что у вас не очень хорошо по этой части. И пообещали пристрелить вас, если она будет врать... Ну, обычная работа: вас берут на ней, ее – на вас. Она врала им, мистер Роумэн. Она понимала, что им нельзя говорить про свою любовь: мы ведь умеем считать, у миллионеров воруют только самых любимых детей – за них платят, сколько бы мы ни потребовали...

– У меня нет ста тысяч, Пепе.

– Плохо. Я профессионал, я получил деньги вперед, аванс, двадцать пять процентов, как и полагается. Я обязан вернуть им двадцать пять, а себе получить семьдесят пять, работа есть работа. Я отдаю девяносто процентов компаньонам, договор подписан, так что – при всей моей симпатии к женщине – я не хочу подставлять свою голову, у меня тоже семья.

– Хорошо. Я сейчас напишу обязательства...

Пепе достал из кармана конверт, протянул листок бумаги – тоненький, в синюю клеточку:

– Здесь должно быть обращение к тюремным властям, датированное семнадцатым ноября сорок третьего... Вот карандаш, тоже немецкий, – он протянул ему зеленый «фабер», третий номер, очень мягкий. – А второе можете писать на чем хотите.

– Я могу найти вас, если достану сто тысяч?

– Можете. Но ваши бумаги будут у них.

– Вы дадите показания о том, как они были написаны?

– Это нарушение контракта. Я не знаю, во сколько это оценят компаньоны.

– Кто сидит в машине?

– Не знаю.

– Я помогу вам. Кемп?

– Зачем тогда спрашиваете?

– Как я смогу вас найти, Пепе?

– Повторяю, я работаю по договору, мистер Роумэн. Я вас могу найти в любую минуту. Вам меня найти очень трудно. Давайте обговорим дату, я выйду на связь.

– Хорошо. Кто уберет груз? – Роумэн посмотрел на быстро желтевшего Гаузнера.

– Люди ждут внизу. Если вы не напишете им обязательства, убирать его придется вам. Если напишете, его не будет здесь через десять минут; вы обождете на балконе, пока мы кончим упаковку, это довольно неприятное зрелище.

– Вы говорите как житель Бруклина.

– Иначе нельзя.

– Значит, вам понравилась моя подруга?

Пепе вздохнул:

– Знаете – очень. Такая девушка выпадает раз в жизни, по сумасшедшей лотерее. Она очень вас любит. Перед тем как покинуть вас, я загляну к ней на балкон, минутный разговор с

глазу на глаз, ладно? Кстати, у вас нет молока? Меня с утра мучает жажда. Можно я погляжу в холодильнике?

И, не дожидаясь ответа, он повернулся к Роумэну спиной, открыв дверцу холодильника.

То, что он повернулся к Роумэну спиной, означало высшую степень доверия к хозяину квартиры.

## Риктер, Кавиола. (Аргентина, сорок шестой)

Одним из переломных дней в жизни группенфюрера Мюллера после майской трагедии оказался тот, когда на виллу «Хенераль Бельграно» доставили американские газеты и журналы с подробным описанием взрыва атомной бомбы в Хиросиме и Нагасаки.

Он сразу же вспомнил отчеты, которые проходили через его подразделение, о соблюдении мер секретности, сообщения агентуры о настроениях в берлинском центре урановых исследований профессора Гейзенберга, который базировался в институте физики, и во франкфуртском, который возглавлял профессор Дибнер. Поскольку люди в этих центрах постоянно писали друг на друга – какие-то пауки в банке, – было принято решение создать единое управление ядерных исследований во главе с профессором Герлахом – посредственным ученым, но крепким организатором. Он начал править довольно круто, подчиняясь профессору Озенбергу, возглавлявшему отдел планирования имперского совета по научным исследованиям; тот в свою очередь, находился в ведении министерства образования; лишь министр имел право непосредственного выхода на Геринга, который курировал в рейхе вопросы науки.

В свое время, когда Мюллер доложил Гиммлеру (дождавшись, когда Кальтенбруннер уехал на отдых в Линц; «ах, Мюллер, мало ли что пишут друг на друга безумные физики! Неужели у вас нет дел поважнее, чем эти сплетни! Порох изобретен китайцами, пусть наши гении усовершенствуют его, этого достаточно, поверьте!»), что данные прослушивания разговоров ученых явно свидетельствуют: мир стоит на грани создания качественно нового оружия, которое в тысячи раз превосходит по своей мощи все известные ранее взрывчатые вещества.

Гиммлер отнесся к сообщению Мюллера достаточно серьезно, не менее часа изучал данные прослушивания, поинтересовался, отчего профессор Гейзенберг позволяет столь резкие выпады против режима, выслушал ответ группенфюрера, что «на месте этого достойнейшего немца я бы выражался еще более круто, повязан по рукам и ногам бюрократами из десятков ведомств, которые стоят над ним, дают указания, требуют отчетов, предписывают делать то и не делать этого, путаются под ногами, мешают».

– С какого года Гейзенберг состоит в НСДАП? – спросил Гиммлер.

– Он, как и Отто Ган, не вступил в партию.

– Почему?

– Ган совершенно малахольный, а Гейзенбергу в этом нет нужды – он предан идее великой Германии не меньше, чем мы, и это ему здорово мешало во времена Веймара: его называли «расистом, фанатиком национальной идеи»...

– Тем более, – Гиммлер пожал плечами. – Если он идейно с нами, отчего бы не вступить в НСДАП?

Мюллер усмехнулся:

– Потому что он и нас обвиняет в недостаточно твердой великогерманской линии.

Гиммлер несколько удивленно покачал головой и вновь вернулся к расшифрованным записям бесед физиков, делая быстрые пометки на полях разноцветными карандашами. Глядя на его аккуратную прическу, на скошенный, безвольный подбородок, на маленькое учительское пенсне, Мюллер с тоской думал – в который раз уже! – о том, кто руководит рейхом. Если бы рядом с фюрером по-прежнему были Рэм и Штрассер, закаленные годами борьбы за национальную идею, не боявшиеся крутых поворотов и неожиданных коалиций, все могло бы идти по-другому: не было бы ни Сталинграда, ни сокрушительного разгрома под Минском, ни американского продвижения на север Италии, ни безжалостных бомбардировок Германии, которые превратили большую часть городов в руины...

Докладывая рейхсфюреру о возможности создания нового оружия, он не очень-то верил в успех начинания с «уранщиками», но, к его вящему удивлению, Гиммлер, оторвавшись от бумаг, решительно заметил:

– Это интересно, Мюллер, в высшей степени интересно. Конечно, с Рунге надо разобраться, это безобразия, если в урановое предприятие проник еврей, займитесь этим, но в принципе то, что они могут нам дать, впечатляет, я расскажу фюреру...

Однако фюреру об этом Гиммлер рассказывать не стал, потому что в тот день, когда он прилетел в ставку для очередного доклада, Гитлер за обедом, во время «тишгешпрехе», заметил:

– Главная ошибка германского командования во время прошлой войны заключалась в том, что генеральный штаб не уделял должного внимания вооружениям, росту производства техники; и в этой войне победит тот, кто будет иметь больше самолетов и танков, это азбука военной доктрины. Не урановые утопии, не болтовня по поводу новых видов оружия, а наращивание темпов выпуска того, что мы имеем, а мы имеем прекрасные «мессершмитты» и могут «тигры».

Гиммлер понял, что его предложение о помощи «уранщикам» Гейзенберга не получит поддержки у фюрера; надо ждать того момента, когда он будет в ином настроении; тем не менее фугас **подвел**, рассеянно предложив:

– Было бы разумно создать некий объединенный фонд военно-научных исследований СС, чтобы как-то координировать всю исследовательскую работу в сфере военной техники.

Гитлер, видимо, не очень-то его и услышал, потому что, рассеянно кивнув, начал распространяться о той кардинальной разнице, которая совершенно очевидна, если сравнивать классическую венскую школу живописи с французским импрессионистским кривляньем...

Тем не менее на слова рейхсфюрера Гитлер не ответил отказом. Помолчав, он кивнул, и это было замечено Борманом, министром почт Онезорге и группенфюрером Фегеляйном, приглашенными на обед. Значит, руки развязаны, можно действовать. Однако после того, как фонд СС был создан, Борман, внимательно следивший за тем, чтобы поддерживать постоянную свару среди ближайшего окружения фюрера, озаботился тем, чтобы фонд научных исследований СС подчинялся не Гиммлеру, но рейхсмаршалу Герингу. Так дело было обречено на медленное умирание: Гиммлер потерял к нему интерес; Геринг метался по городам рейха, занимаясь установкой новых зенитных батарей; идея об урановом чуде зависла; как раз в той стране, где Ган впервые доказал возможность создания штуки, идея была потеряна из-за некомпетентности фюрера, который руководил рейхом, не имея сколько-нибудь серьезного школьного образования, не говоря уж об университетском.

В марте сорок пятого, давно поняв, что крах неминуем, Мюллер вновь запросил данные на авторов уранового проекта. Гейзенберг, Вайцзеккер и Ган были эвакуированы, группа Гартека работала где-то в окрестностях Гамбурга, Макс фон Лауэ, Дибнер и Герлах также перебрались на Запад. Мюллера заинтересовало, кто же именно отправил их туда, поближе к американцам? Чувствовалась чья-то рука; последнее известие пришло двадцать четвертого апреля, когда уже началась битва за Берлин; доверенная агентура, внедренная в близкое окружение ученых, сообщала, что якобы профессор Гартек, попав к американцам, немедленно написал письмо в Вашингтон: «Мы готовы сделать взрывное вещество, которое даст стране-обладательнице подавляющее преимущество перед другими». Мюллер тогда смачно выругался; но не Гартека он бранил, а Гитлера; несчастному профессору ничего не остается, как торговать своей головой, если его страна погублена одержимым безумцем; спасайся, кто может!

Лето сорок пятого Мюллер акклиматизировался, вживался в новую обстановку: не до физиков, он попросту забыл о них. Сначала надо залечить раны, а они у него страшнее тех, которые получаешь на поле брани, – моральное крушение значительно страшнее физического. Лишь в конце июля он свыкся с мыслью, что здесь, в горах, он действительно в полнейшей без-

опасности, в кругу единомышленников, преданных, как и он, великогерманской идее – любимым путем восстать из пепла! Немцы еще скажут свое слово, они поднимутся к былому могуществу – только так и никак иначе!

«Это лозунг, – возразил он себе. – У меня нет реального предложения, которое бы дало дельную, а не декларативную возможность подняться. Да, я имею людей, деньги, явки, свои фирмы, но у меня еще нет той идеи, которая бы рекрутировала приверженцев из тех, кто так или иначе, но будет приведен оккупантами к административному управлению несчастной Германией. Вылезать с повторением национальной доктрины преждевременно, слишком свежа память о том, к чему привел массовый психоз: “Мы – самые великие, умные, смелые!” Вот и сидят в дерьме арийцы, да еще в каком! Да, пугать мир повторением нового Гитлера нужно и можно; пусть пройдет этот год, и я выпущу на арену тех, кто умеет нагнетать национализм, но это не есть кардинальное решение, паллиатив».

...Мюллер понял, что может дать ему реальную силу, в августовский день сорок пятого года, прочитав об атомной бомбардировке Хиросимы и Нагасаки, а поняв, сразу же начал комбинировать. На это ушли долгие месяцы. Следом за тем, как комбинация оформилась в голове, словно литая формула, пришло время сбора информации; дело оказалось крайне деликатным, ибо все немецкие физики были вывезены из Германии и жили теперь в Соединенных Штатах. Лишь летом сорок шестого года он, наконец, получил кое-какую информацию о том, что происходило с учеными, когда их начали готовить к возвращению в западные зоны оккупации.

Мюллеру сообщили, что профессор Отто Ган, узнав о взрыве атомной бомбы, тяжело запил, был близок к самоубийству, навязчиво повторял коллегам, что это он виноват в трагедии, ведь именно он был первым, кто доказал возможность создания этого чудовищного оружия. Гейзенберг, забыв обо всем, интересовался только одним: как это удалось американцам? «Вы посредственность, старина, – пьяно посмеивался Ган, – вы ученый средней руки, вы никогда не были в силах предложить идею». Более всего Мюллера потрясла реакция профессора Виртца (всегда был благополучен, агентура не сообщала о нем ничего тревожного, вполне добропорядочный последователь фюрера): «Слава богу, что мы не смогли сделать бомбу, это была бы трагедия для Германии!» Гейзенберг фыркнул: «И это говорит немец!» Тем не менее Виртца в какой-то мере поддержал профессор Вайцеккер: «Между прочим, ужасно и то, что бомбу сделали американцы, это акт безумия». – «Будет вам, – усмехнулся Гейзенберг, – никакое это не безумие, а вернейший способ выиграть войну... Если бы я получил от фюрера такие же средства, как Вернер фон Браун, мы бы имели бомбу, я в этом не сомневаюсь!»

То, что Гейзенбергу на это заметил Вайцеккер, повергло Мюллера в ярость. «Вы ничего не смогли сделать потому, дорогой Гейзенберг, – сказал профессор, – что большая часть физиков этого не хотела – из принципиальных соображений. Если бы мы все желали победы Германии, мы бы добились успеха».

Однако основной толчок к действию дала информация о том, что американцы подвели к Гейзенбергу профессора Блекета. Великолепный ученый и организатор, давно связанный с Пентагоном, он беседовал с немецкими физиками о том, что они думают по поводу возрождения науки в Германии: «Вы же нация мыслителей; мир ждет новых открытий; думаю, если мы опубликуем в прессе историю нашей работы над бомбой, это придаст новый импульс для дальнейших исследований».

– Вы с ума сошли! – Гейзенберг всплеснул руками. – Русские никогда не согласятся на контроль в этой области! Вы не знаете их! Они пронизаны духом завоевательства, а мы еще не готовы им противостоять!

Эта фраза Гейзенберга и решила исход дела; информация – мать поступка; Мюллер почувствовал себя помолодевшим на десять лет, пригласил Шольца и дал ему рубленое задание:

– Во-первых, наши люди должны войти в контакт с Гейзенбергом, он уже в Мюнхене. Во-вторых, беседу с ним должен провести привлеченный – из старой кайзеровской гвардии, никаких связей с национал-социализмом. В-третьих, он должен поработать с Гейзенбергом таким образом, чтобы профессор принял приглашение Аргентины, когда к нему обратятся люди Перона, и приехал сюда для работы над атомным проектом.

Шольц удивился:

– А почему люди Перона должны к нему обратиться, сеньор Рикардо?

– Дружище, – ответил Мюллер, – разве мы с вами подписывали договор о том, что вы обязуетесь быть таким же умным, как и я? Занимайтесь тем, что вам поручено, и не тревожьтесь о том, что не входит в вашу компетенцию.

Потом уже, ночью, Мюллер подумал, что зря он так ответил Шольцу. «Я пытаюсь реанимировать порядки рейха – напрасно; слепое следование приказу себя не оправдало, это пеленает людей, мешает делу; я найду возможность как-то смягчить мои слова, бедный Шольц был так растерян».

Он не сделал этого не по злой воле, а потому лишь, что утром прилетел связной от сеньора Отто Бемберга. Потомок немецких эмигрантов, прибывших сюда еще в девятнадцатом веке, Отто получил от отца крупнейшие заводы и поместья; от него же наследовал страстную веру в величие немецкого национального духа; связь с этой семьей поддерживалась с тридцать третьего года, тогда это осуществляла НСДАП. С сорок четвертого года Мюллер смог внедрить в окружение Бембергов своего человека, и именно он, Карлос Маннман, сумел стать ответственным за связи с наукой; заводы Бемберга славились новейшей технологией, фирма обращалась за консультациями не только в Германию, но и в Англию и Соединенные Штаты.

На зашифрованный вызов «Рикардо Блюма» Карлос Маннман откликнулся сразу же. Встреча была вполне дружеской, он подробно обрисовал ситуацию, ответил на вопросы, показавшиеся поначалу несколько странными, – о состоянии дел в физической науке; рассказал о фанатике атомных исследований докторе Энрике Кавиоле, его ближайших сотрудниках: докторе Вюршмите, Галлони, Гвидо Беке, Иснарди, Балсейро, Симоне Гиршанчике и Якобе Гольдшварце; упомянул Рикгера, который, однако, работает только, замыкаясь лишь на полковнике Гутиересе; базируются физики в обсерватории в Кордове и в университете Ла Плата.

Мюллер заинтересовался, кто по национальности Гиршанчик.

– Аргентинец, – с некоторым недоумением ответил Маннман; лишь спустя мгновение понял, чем вызван вопрос Мюллера; чуть сконфуженно пояснил: – Вы же знаете, здесь не существует национального вопроса: если ты имеешь паспорт и дом – значит, аргентинец.

– Это прекрасно, – серьезно ответил Мюллер. – В той задумке, которая меня сейчас занимает, не исключено присутствие еще парочки таких же аргентинцев, как этот самый Гиршанчик, прекрасное прикрытие... Как вы думаете, ваш шеф согласится финансировать начало грандиозного проекта, связанного с изучением атомной проблемы?

– Если нужно – согласится.

– Прекрасно. А вы можете устроить встречу моего человека с Рикгером?

– Бесспорно.

– Вполне возможно, что я тоже буду там... Рикгер надежен?

– Он из нашего **братства**, сеньор Рикардо.

– Предают именно братья, – отрезал Мюллер.

– Он надежен.

– Замечательно! А можете вы сделать так, чтобы доктор Кавиола, который, как я понял, является фанатиком атомной идеи, написал приглашение профессору Гейзенбергу, в университет Гейдельберга?

– Этому великому физику?

Мюллер кивнул.

– Конечно, – ответил Маннман. – Но я далеко не убежден, что Гейзенберг согласится сюда приехать.

– Ну, это уж не ваша забота, дружище, – ответил Мюллер и сразу же понял, что со здешним немцем, который Гиршанчика считает аргентинцем, нельзя говорить так, как с теми, кто родился в рейхе. – Это забота старого, больного Мюллера, который доживает свои дни в изгнании. У вас и так слишком важный фронт работ, дорогой Карлос, мне неловко вас обременять лишним раз...

– Может быть, лучше это сделать профессору Беку? Он прибыл сюда осенью сорок третьего, очень помог здешним физикам, пусть он и сочинит послание.

– Погодите, погодите... Он прилетел сюда после того, как здесь к власти пришли военные, а Перон стал министром?

Карлос Маннман понимающе улыбнулся, кивнул.

– Ни в коем случае, – возразил Мюллер. – Письмо должно быть подписано именно Кавиолой... Кстати, этот Бек тоже... аргентинец?

... Через несколько дней в Гейдельберг ушло письмо от профессора Кавиолы:

«Уважаемый сеньор профессор Гейзенберг! Прибытие в Аргентину в 1943 году профессора Гвидо Бека принесло огромную помощь нашим научным изысканиям. Спасибо за то, что Вы воспитали такого замечательного ученого! Меня Вы вряд ли помните, хотя я имел счастье аплодировать Вам в Дюссельдорфе во время очередного научного конгресса в двадцать шестом году, когда Вы отметили свой четвертьвековой юбилей таким блистательным докладом, которому мог бы позавидовать любой корифей, убеленный сединами.

Я обращаюсь к Вам в связи с тем, что ныне возникла возможность пригласить в Аргентину трех наиболее выдающихся физиков и радиотехников Европы, поскольку министерство флота и университет организовали специальное училище радиокommunikаций.

Здесь Вы получите возможность не только преподавать, но и вести исследовательскую работу на передних рубежах науки.

Я предлагаю Вам контракт сроком на пять лет при оплате Вашего труда в восемьсот долларов в месяц.

Поскольку я являюсь директором обсерватории и президентом Ассоциации аргентинских физиков, министерство флота уполномочило меня заверить, что для Вас будут созданы самые престижные условия.

При этом Вы вправе назвать имена ассистентов, которых захотите привезти с собой».

Ознакомившись с проектом письма, Риктер добавил строку:

«Закключая контракт, мы, тем не менее, не можем не оговорить заранее, что в Ваших публикациях не должны затрагиваться проблемы, которые могли бы в любой форме вызвать возражения цензуры по вопросам секретности, ибо речь идет об исследованиях, которые являют собой новую эпоху в южноамериканской науке».

Приписку эту он сделал уже после того, как встретился с сеньором Браньоли<sup>9</sup>. Сеньор «Рикардо Блюм», прилетевший вместе с ним, участия в беседе не принимал, хотя слушал очень внимательно; Риктер не мог избавиться от впечатления, что этот человек ему знаком, лицо чем-то похоже на шефа гестапо, только у этого значительно более мягкие глаза, увеличенные линзами очков, – видимо, очень большая дальность зрения.

Во время встречи договорились о том, что, делая бомбу Перону, думают о Германии; атомное оружие в руках немцев есть не что иное, как путь к национальному возрождению.

---

<sup>9</sup> Штандартенфюрер СС, обермайстер.

## Штирлиц. (рейс Мадрид – Южная Америка, ноябрь сорок шестого)

– Почему вы не пьете? – спросил Ригельт. – Я не могу спать в самолете, если не напьюсь как следует.

– Бойтесь?

– Я совершенно лишен чувства страха в небе.

– Да? Завидую. Я, говоря откровенно, побаиваюсь. Дом в облаках – с обедами, ужинами, сортиром, шотландским пледом и откидывающимся мягким креслом – вызов создателю. На вызов отвечают действием. Создатель в этом смысле не исключение. Вон, глядите, как гонит масло из второго двигателя...

Ригельт резко обернулся к иллюминатору, ухватился пальцами за ручку кресла:

– Перестаньте шутить!

– Да не шучу я. Просто отдаю вам часть своего страха, чтобы самому не было так жутко.

– Так надо же срочно сказать пилотам!

– Зачем? Не надо создавать лишней паники. Все равно, если что-то случилось, до берега мы не дотянем, как-никак три часа висим в воздухе...

«Что ж ты так побледнел, бедный, – подумал Штирлиц, – даже испарина появилась на висках; они у тебя совсем молодые, без впадинок еще; сорока тебе нет, лет тридцать семь; казалось бы, три года, какая ерунда, а на самом деле – некий незримый рубеж, отделяющий одно душевное состояние человека от другого, совершенно иного уже; тайна; воистину, все реализуется лишь во времени и ни в чем ином; даже мечты матери в ее ребенке реализует не она, но тайна времени».

– Вы фаталист, Штир... Браун?

– Какой я, к черту, фаталист, – улыбнулся Штирлиц. – Год назад я говорил моей служанке, что считаю себя стареющим мужчиной. Она, кстати, ответила, что ей такие нравятся... Я тогда был юношей, милый Викель. А сейчас – старик. Древний дед, а не фаталист. Это качество рождено молодостью – риск, отвага, авось пронесет, чем черт не шутит, а старость – это осторожность, нерешительность; старость – это когда занимаешь место в хвосте самолета, больше шансов остаться в живых, если упадем, и запасной выход – рядом. Вы, кстати, пишется через «к» или «г»?

– Через «к», я же южанин, мы говорим мягко – в отличие от вас, коренных берлинцев, – солгал Ригельт.

– Полагаете, я коренной берлинец?

– Судя по выговору.

– Так ведь можно наработать...

– В такой мере – нельзя, – Ригельт покачал головой. – Можно изменить внешность, даже характер, но язык не поддается коренному изменению, это в человеке навечно.

«Дурачок, – подумал Штирлиц, – трусливый, претенциозный дурашка; сейчас он обернется на то место, где сидел я, поглядит, рядом ли запасной выход, и предложит перейти в хвост, здесь, скажет, дует. Если не сразу, то через какое-то время он обязательно предложит перейти в “безопасное” место. Черт, как грустно наблюдать людей, в голову которых ты заложил идею животного качества, – а сколько, увы, таких?! Неужели именно такого рода животный фермент вызывает немедленное действие? Кажется, Герцен сказал, что мы продали свое человеческое достоинство за нечеловеческие права над своими ближними... Верно, кстати; земские соборы легко предали власть **приказами** думским дьякам за полную свободу в делах своих имений; за установление крепостного права – высшее проявление животности верхних

ста тысяч, – самодержавие получило всю полноту власти в стране... И начался застой... А Запад в это время менял одно сумасшествие на другое: то безумие крестовых походов, то всеобщий поиск дьявола, принявшего людское обличье, потом всеобщая эпидемия: «назад к античности, к древнему миру, к утраченному благородству римлян и греков!» По счастью, именно эта эпидемия вызвала у них интерес к знанию, к книгам и языкам, – а не отсюда ли один шаг до бунта? Вот и появился Лютер... Записать бы все, что у тебя в голове, – сказал себе Штирлиц, – попробовать оформить это в схему, могло бы получиться небезынтересно. Девятнадцать лет – в себе, все время в себе, действительно как затаившийся зверь. Олень или волк? – спросил он себя. – А может, кабан? Многоголкуемое понятие – животное. Поди ж, начал за здравие, а кончил за упокой».

– У вас деловой визит, Браун?

– Да.

– Куда? Если, конечно, не секрет...

– А их больше нет, секретов-то... А дальше – того хуже: сейчас рентгеном только легкие и кишки просвечивают, а скоро, надо ждать, научатся смотреть мозги. Поставят к свинцовой стенке, возьмут за руку хваткими пальцами в резиновых перчатках и айда вертеть: «А это что у вас за мыслишка? Беспокоит? Надо бы удалить – лишняя». Ничего перспектива, а?

– Да уж, страшновато... Мне даже что-то зябко стало от ваших слов... Кстати, не замечаете, здесь дует от иллюминатора? Давайте переберемся подальше в хвост, если не возражаете...

Штирлиц усмехнулся, покачал головой. «Будь все трижды неладно, – сказал он себе, – противно жить, когда знаешь, от какой болезни помрешь и в каком возрасте...»

– Там дует еще хуже, Викель. Я бы сразу вас пригласил к себе, в хвост, но там еще сильнее дует, я поэтому отсел на второе кресло, да и потом, если запасной выход ненароком откроется, нас высосет, как в трубу, а здесь мы надежно прикрыты теми, кого первыми будет волочить по проходу...

– Ну вас к черту, Штир... Браун, от того, что вы говорите, отдает садизмом.

– Прошли одну школу, – усмехнулся Штирлиц, – чему ж удивляться? Вы где работаете?

– Я? – Ригельт не ждал такого прямого вопроса; это только янки назойливо представляются: «Я – Джим Смит из Чикаго, владею обувным магазином, женат на молоканше и имею трех детей»; все-таки немец значительно более тактичен, а любой прямой вопрос, обращенный к малознакомому человеку, в определенной мере некорректен. – Я служу в компании.

– В какой? – так же сухо осведомился Штирлиц.

– В... В ИТТ, – ответил Ригельт, невольно поддаваясь манере Штирлица ставить вопросы и досадуя на себя, что он не предусмотрел возможности такого оборота разговора. Впрочем, он не мог себе этого представить, потому что авторитарность нацизма предполагала вседозволенность лишь после соответствующего приказа начальника; тогда ответа было необходимо добиться любым путем; в обычной же жизни, вне стен рабочего кабинета, люди как раз и находили отдушину в том, чтобы не ставить однозначных вопросов, – страх сделался нормой жизни; именно ответ таил в себе особый страх; вдруг что не так скажешь, – поэтому беседы велись по **касательной**, были осторожны и оттого лишь казались корректными.

– Да? Любопытно, – заметил Штирлиц. – Чем занимаетесь? Насколько я понимаю, эта контора работает в сфере связи. Вы же не инженер, нет?

– Я филолог.

– Ах, вы филолог... Знаете португальский?

– Выучил. Но в основном я имел дело с английским. Вы же помните.

– Я не помню. Иначе бы не спрашивал.

– А вы где работаете? – преодолевая какой-то внутренний страх, спросил Ригельт. – В какой сфере?

– Во многих, – отрезал Штирлиц. – На меня навалили столько дел... Кого из наших видели?

– Полагаете, я стану отвечать на такой вопрос? – с испугавшей его самой резкостью спросил Ригельт. – Мы же не виделись два года, а за это время много воды утекло и люди поменялись. Вон, вы тогда были юношей, а сделались стариком... Выходите в Рио?

– Вместе выйдем, дружище, выйдем вместе, куда мы друг без Друга? Одно слово – братство... Ладно, пойду к себе спать...

– Знаете, я все же пойду с вами... Я укутаюсь пледом и сяду возле иллюминатора, что-то мне не хочется лететь одному.

– Попросите снотворного. Здесь дают снотворное. И проснетесь, когда взойдет солнце. Хоть мы и бежим от него, оно все же скоро догонит нас... И под крылом будет не безбрежный океан, а земля, все не так безнадежно... Никогда не садитесь на вынужденную?

– Нет. А вы?

– Дважды.

– Страшно?

– Нет. В последний момент, когда ясно, что пожар не затушить и мотор весь в черном дыму, не страшно. Во-первых, это мгновения, доли минуты, а потом чувствуешь себя как спортсмен перед прыжком с трамплина: готовишься к спасению, придумываешь тысячу версий, тянешься к выходу, чтобы прыгнуть в самый последний момент – как раз перед тем, как самолет врежется в дом, гору или сосну... Столько напридумываешь, так перенапряжешься, что потом, когда летчики чудом усаживали машину на поле, тело болит, как после игры на чемпионате...

– По-прежнему играете в теннис?

– Начну... Последние месяцы я был не в форме...

Ригельт достал из портфеля бутылку:

– Пробовали? Это «винью верди»; мой портъе не произносит «в»; вместо «вино» говорит «бино», вместо «верди» – «берди», смешной старик. Разопьем? Чудо что за напиток...

– Спасибо, не хочу.

– Как знаете. Но я вам оставлю глоток. В самом деле не пробовали?

– По-моему, нет.

– Его подают к жареным сардинкам, очень распространено в Лиссабоне...

– Каплю попробую.

Ригельт сокрушенно вздохнул:

– Салфетка нужна, оно шипучее, обрызгает...

– Платок не подойдет?

– И это вы предлагаете адъютанту Скорцени?! Он бы меня публично унизил за такое предложение. Вы не представляете себе, как он утончен, когда речь идет о застолье... Впрочем, не только о нем одном... Послушайте, Браун, попросите у стюарда салфетку, два высоких фужера и, если есть, соленый миндаль...

– Соленый миндаль не обещаю.

– А вот и не убежден, что вы правы. На таких самолетах вполне могут быть деликатесы, они же не зря делают посадку в Лиссабоне, загружают любопытную пищу, что вы хотите – жители океанского побережья...

– Хорошо, попрошу. Что еще нужно к этому зелью?

– Жареные сардины, но это, как я понимаю, невозможно.

Штирлиц поднялся, пошел в голову самолета; там, за загородкой, сделанной из тонкой фанеры, облицованной пленками с картинками испанских городов, сидели два стюарда; здесь же был небольшой рефрижератор для бутылок и полки, в которых хранились бутерброды, взятые на борт во время часовой стоянки в Лиссабоне.

– Мой сосед отчего-то убежден, – сказал Штирлиц, – что у вас есть соленый миндаль...  
– Вот уж чего нет, того нет, – ответил стюард, что подходил к Штирлицу, – очень сожалею, сеньор.

– Значит, и сардинок нет?

– Сардинки есть! Мы получили ящик сардинок, могу предложить вам банку.

– Это в масле?

– Да, конечно! А какие же еще?

– Мой сосед сказал, что в Лиссабоне подают жареные...

– Ах, это к «винью верди»? – поинтересовался второй стюард. – Нет, таких у нас, конечно, нет, это только в Португалии, они действительно делают по здешнему рецепту, на углях, объедение, что за рыбка!

– Но высокие бокалы у вас есть?

– Это – да, – кивнул стюард. – Говорят, скоро станут делать первые классы в аэропланах такого типа, тогда наверняка будем возить и соленый миндаль. Я начну торговать вашим интересом, сеньор, мне за это наверняка уплатят премию, у нас платят премии за рациональные идеи.

– Валяйте, – согласился Штирлиц, – торгуйте рациональной идеей, но только мне сдается, что «идея» и «рационализм» не очень-то сочетаются, хотя по смыслу весьма близки.

Когда Штирлиц вышел из-за перегородки, Ригельта на месте не было, а в хвосте самолета тревожно горела красная лампочка. «Зачем человек, вошедший в туалет, должен пугать пассажиров? – усмехнулся Штирлиц, – просто-напросто объявляется ко всеобщему сведению: “Внимание, человек в сортире!” Тоже, кстати, вполне “рациональная идея”, можно продать этому парню: пусть уберут красную лампочку; все резкое, будь то движение, цвет или рев мотора, отпугивает пассажира, в следующий раз поплывет на пароходе».

Штирлиц сел в кресло и понял, отчего Ригельт так стремительно убежал в туалет: кресла были забрызганы вином. «Еще хорошо, что впереди никто не сидел, а будь там дама с перманентом, – почему-то представил себе Штирлиц, – а ее в Рио ждет любимый, а она выйдет к нему со склеенными волосами! А почему я решил, что вино сладкое, – подумал он. – Потому что оно шипучее, если Ригельт так все обрызгал; ох уж мне эти “утонченные” адъютанты! А где бутылка? Не понес же он ее с собой в туалет?»

Бутылку – вина в ней осталось всего ничего, на доньшке, – Ригельт сунул в карман, сделанный на чехле кресла. Вино пахло сыростью и молодым виноградом. И правда – океанский запах.

– Что значит желание угодить собрату, – сказал Ригельт, вернувшись на свое место. Вид его был весьма комичен: брюки были залиты вином и левый лацкан пиджака тоже был мокрым. – Но и вы хороши... Я думал, вы мигом обернетесь, снял проволочки, держал пробку, как мог, но ведь Португалия – страна пробки, они ее не жалеют, она стреляет у них как петарда... Попробуйте вино, мне можете не оставлять, ради вас старался...

...Штирлиц никак не мог проснуться, хотя понимал уже, что он летит в самолете, что рядом с ним сидит Ригельт, а за плечо его трясет стюард – наверняка что-то случилось.

Он спружинился, широко открыл глаза и сразу зажмурился: ослепительное солнце пронизывало салон, пыль в его лучах казалась фрагментом декорации какого-то балета; действительно, маленькие пылинки плавно, словно под музыку, перемещались в воздухе. «Они меня усыпляют, – подумал Штирлиц, – будто какие шелкунчики; единственный балет, который мне удалось посмотреть с папой, там было какое-то действие, когда все засы...»

– Сеньор, – стюард снова потряс его за плечо, – вам надо заполнить пограничную анкету, мы подлетаем к Рио-де-Жанейро...

Штирлиц заставил себя подняться с кресла. Ригельта рядом не было, спал возле запасного выхода: «лишен страха», чудо что за адъютант у Скорцени, с таким не пропадешь!

– Давайте вашу анкету, – сказал Штирлиц и потер лицо пальцами. – Сейчас мы ее одолеем, голубушку.

– Вы знаете португальский?

– Нет. А зачем мне это?

– Вопросы напечатаны на португальском, сеньор, я переведу...

– Так ведь он похож на испанский... Разберусь, – улыбнулся Штирлиц. Он полез в карман, за паспортом... В левом кармане паспорта не было, хотя он был убежден, что положил его с билетом именно туда; не оказалось паспорта и в правом кармане.

“Винью верди”, – понял он сразу же, – Ригельт специально открыл бутылку без меня, ай да Ригельт, ну, молодец, ай да адъютант Скорцени, как же он меня работнул, а?! И ведь в туалет его не потащишь! Ну, а что произойдет, если я все же затащу его в туалет? Да нет, у меня на это не хватит сил, он здоров как бык. Да и наверняка он сжег мой паспорт в туалете, когда усыпил меня. Он не случайно в этом самолете, теперь это ясно. Я не мог себе представить игру, но игра идет. Участвует в ней Роумэн? Нет. А кто иной мог так быстро связаться с Лиссабоном? Ну, вопрос быстроты и надежности связи – это компромисс с самим собой, с моей верой в Роумэна. Если операция планировалась, то он вполне мог организовать весь этот спектакль с его похищенной девушкой заранее, за две или три недели до того, как я **поддался** ему... Хорошо, а если все же нет? Зачем ты играешь с собой? – спросил себя Штирлиц. – Я играю с собой потому, – ответил он себе, – что рухнула моя надежда: без паспорта никто меня не выпустит с аэродрома в Рио. И в Буэнос-Айресе меня не выпустят, если только я не обращусь к Ригельту за помощью. Все ясно как божий день: я должен обратиться к нему, в этом смысл их комбинации. Их? Чьей же? Стоп, – сказал он себе, – я не зря пытался отвести Роумэна от этой комбинации. Я имел к этому какие-то основания. Какие же? Не знаю. Но я чувствую, что я не просто так отводил его, не из-за того, что он мне стал симпатичен. Нет. Нет, – повторил он, – не только поэтому. Видимо, я споткнулся на другом. Ну а на чем? Видимо, на том, – ответил он себе, – что Ригельт ответил: “Я работаю в ИТТ”... Он очень не хотел мне этого говорить, но я знаю, как заставлять их говорить правду, я их всех играю в себе, поэтому у меня получается с ними. Он не должен был говорить мне этого, но он не был готов к моему прямому вопросу и поэтому ответил правду, ибо боялся, что маленькой ложью, к которой он не успел приладиться, сорвет то дело, ради которого его отправили в этот самолет. Я нужен ИТТ. То есть Кемпу. А за Кемпом стоят немцы. Но кто меня убедит в том, что за теми немцами, которым я нужен, не стоит служба Роумэна?»

Обернувшись, Штирлиц поманил к себе Ригельта. Тот показал ему глазами на анкету: мол, сейчас закончу и подойду, и спокойно углубился в заполнение полицейского бланка. «Весь мир уже учтен, причем не раз и не два, но все равно продолжают учитывать, хотя, с другой стороны, пойди не учти его – вот бы я через два часа и оказался на советской территории: собственность ли, аренда, не важно уже; можно лечь хоть на столе и спать несколько дней кряду; спать, ничего другого я сейчас не хочу, спать спокойно. Могу же я позволить себе такую мечту, не правда ли?»

Ригельт засмеялся:

– Да будет вам, право! А в портфеле смотрели? Я всегда сую билет в портфель, чтобы не рвать карманы: ведь у каждой двери вынь и покажи, можно разориться на подкладочном материале... А потом паникую...

– У меня нет портфеля, дружище.

– Ах, так... Ну-ка, еще раз тотальную проверку!

Штирлиц послушно обыскал себя; ничего конечно же не было.

«А если я сейчас попрошу у стюарда завтрак, – подумал Штирлиц, – разверну маленькие вилки, а ножик суну ему в сонную артерию? Меня не интересует, как он будет вопить, а он будет вопить; он делается отвратительным в своем страхе смерти, отвратительным – то есть явственным, зримым. Ну, и что тебе это даст? – спросил себя Штирлиц. – Ты в западне, поэтому думать надо абсолютно спокойно, всякая паника лишь усугубит дело. Что тебе это даст, кроме сладости отмщения человеку, в котором ты вновь увидел концентрированный ужас нацизма? Чего же тогда ты не пырнул Мюллера? Он фигура куда более серьезная. Ты ведь не сделал этого, потому что надеялся на выигрыш. Нет, – возразил он себе, – я просто выполнял приказ: “приказано выжить”. А если я суну вилку в шею Ригельта – без содрогания и жалости – меня передадут полиции в Рио-де-Жанейро, где я сделаю заявление, отчего я убил этого наци, и раскрутка дела приведет в ИТТ, к Кемпу, к их цепи, а у них крепкая цепь, если этот бес успел получить приказание **подскочить** ко мне в Лиссабоне и лишит документов. Ну и что? Какое дело Бразилии до их цепи? У них своих забот хватает. Да, но я потребую вызвать в тюрьму нашего консула, назову свое русское имя, объясню, отчего все случилось. Ну и как же ты это объяснишь? – спросил себя Штирлиц. – Почти год как здесь произошел государственный переворот, на смену президенту Жетулио Варгасу пришли военные, разгромили левых и начали травить коммунистов как “агентов Кремля”. Народ, правда, смог остановить это, даже в сенат прошел коммунист на выборах, но ведь травля всего того, что связано с левыми, продолжается! И вот заявляешься ты, весь в крови этого борова, и говоришь: “Я – русский, я зарезал нацистского кабана, верните меня домой”. Фи, Штирлиц, ты запаниковал, это недостойно, спокойствие и еще раз спокойствие».

– Послушайте, Викель, – сказал Штирлиц, – а ведь у меня надежда только на вас... В силу понятных вам причин я не могу заявить о потере паспорта, это провал...

– Куда вы летите?

– В Асунсьон.

– Это через Игуасу, – сразу же сказал Ригельт. – Вам здесь надо делать пересадку, лететь на маленьком самолете в джунгли, а из Игуасу – это, правда, Аргентина: тоже требуют визу – вы бы легко добрались до Асунсьона... Здесь у меня нет контактов, Штир... Браун... В Игуасу вы пропустите самолет – уснете в сортире, напьетесь, придумаем что-нибудь, да и я попробую кое-что предпринять... Где ваш билет?

– Вот он.

– Ну-ка, дайте... Значит, вы летите до Асунсьона, – он ткнул пальцем в талон. – Багажа у вас нет, пересадка с одного самолета на другой – всего лишь. Паспорт, думаю, не нужен – во всяком случае до Игуасу...

– А вы-то куда летите?

– Я летел в Буэнос-Айрес, но теперь, видимо, придется сделать крюк, чтобы попробовать уладить ваше дело.

«Пусти слезу, – сказал себе Штирлиц, – они же все берут поверху, он будет убежден, что я тронут до глубины души его братством, это вселит в него убежденность, что я не заподозрил его, это поднимет его в собственных глазах. – “Каков я профессионал!” Видимо, с ним надо вести себя именно так, сесть в бразильскую кутузку без документов неразумно».

– У вас есть деньги? – спросил Ригельт.

– Нет, – ответил Штирлиц; деньги, по своей давней привычке, он сунул в задний карман брюк. «Посмотрим, предложишь ли ты мне деньги – если да, значит, комбинация; важно – какую купюру ты предложишь; если долларовую, значит, версия непричастия Роумэна к этому делу летит ко всем чертям, а жаль».

– Погодите, а вы глядели под креслом? – спросил Ригельт.

Вопрос был столь искренен, что Штирлиц даже оторопел от неожиданности, потом резко поднялся:

– Ну-ка, давайте посмотрим! Черт возьми, конечно, он там!

Они заглянули под кресло Штирлица, потом пошли на место Ригельта; паспорта, понятно, не было.

Подплыл стюард:

– Что-нибудь случилось, сеньоры?

– Ровным счетом ничего, – ответил Ригельт на варварском испанском, ну и акцент. – Я ищу свой блокнот, но, видимо, он в портфеле, благодарю.

«Я сделал ошибку, – понял вдруг Штирлиц. – Я слишком рано обратился к нему. Сначала я должен написать письма Роумэну и Спарку. Я должен объяснить им, что случилось, и предупредить, что исчезаю. Ригельт здесь оказался для того, чтобы я исчез».

Штирлиц поднялся, не ответив на вопрошающий взгляд Ригельта, и пошел в туалет; по пути достал из кармана одного из кресел конверты с эмблемой трансатлантического рейса «Испания – Аргентина» (реклама должна быть броской) и, запершись, написал два письма.

Когда он вернулся, Ригельт передал ему сто франков:

– Это – на всякий случай, Браун. Когда устроитесь – вернете.

– Адрес оставьте.

– Я думаю, вы вернете мне деньги лично, – сказал Ригельт. – Смотрите, смотрите, какая красота, весь город под нами!

## Информация к размышлению. (ИТТ, сорок второй – сорок пятый)

После того как японцы разбили американскую военно-морскую базу на Пёрл-Харборе и Белый дом объявил войну странам «оси», деятельность ИТТ сразу же попала в сферу пристального интереса федерального ведомства связи. Одному из талантливейших аналитиков, Алану Сэйлеру, было поручено провести негласное изучение контактов ИТТ с противником; в секретном докладе, подготовленном им для Вашингтона в конце сорок третьего года, сообщалось, что «полковник Бэн продолжает поддерживать связи с врагом через нейтральные страны, поставляя Берлину стратегические товары и оказывая конфиденциальную помощь в информации нацистам, работающим в Испании и Латинской Америке, особенно в Аргентине, Чили и Эквадоре. Только в 1942 году аргентинская компания “Юнайтэд ривэр плэйс тэлэфон компани”, купленная людьми Бэна у англичан, провела 622 телефонных разговора с Берлином из Буэнос-Айреса. Есть основания предполагать, что фирма “Ол америкэн кэйбл оффис”, купленная ИТТ, также поставляет информацию Берлину. В “Компания унион телефоника” работает Руис де Беренбрух, который заявляет себя антинацистом, однако ночи он проводит в германском посольстве, а затем отправляется в компанию, где имеет возможность подслушивать телефонные переговоры американцев и англичан со всем миром.

В 1942 году в Мадриде была зафиксирована встреча вице-президента ИТТ Кеннета Стоктона с послом рейха в Мадриде и двумя представителями Геринга. Эта информация государственного департамента была тщательно перепроверена и подтвердилась полностью.

В том же году представитель полковника Бэна, некий Грюн, посетил Швейцарию, где встретился с одним из высших чинов СС доктором Вестриком, принужденным в свое время покинуть США, поскольку был изобличен как нацистский агент. Во время этой встречи Грюн подготовил для доктора Вестрика торговую сделку, в результате которой Геринг получил необходимые для его “люфтваффе” цинк и ртуть, категорически запрещенные к продаже не только странам “оси”, но даже нейтральным странам. (Эти стратегические товары были затем переданы для нужд авиаконцерна “Фокке-Вульф”, возглавляемого эсэсовцем доктором Танком.)

Все это дает основание передать материалы об антиамериканской деятельности полковника Бэна, возглавляющего ИТТ, в соответствующее подразделение ФБР для начала постоянной **работы** по этому преступному концерну».

...Прочитав документ, сфотографированный людьми начальника службы безопасности концерна Грюна, полковник Бэн долго сидел в задумчивости, положив тяжелые кулаки на стеклянную полированную поверхность своего громадного – красного дерева – стола, потом усмехнулся чему-то и спросил:

– Что, страшно, Грюн?

– Ну, не то чтобы страшно, – ответил тот (щупленький, близорукий, плешивый, он никак не походил на тот стереотип разведчика, который начал создавать Голливуд), – но думать есть о чем.

– А я чем занимаюсь? Полировкой яиц? – раздраженно заметил Бэн.

– Получается? – усмехнулся Грюн. – Научите.

– Я ничему не учу бесплатно. Давайте взятку. Или приобретайте лицензию. Первое – дешевле, второе – дороже и ненадежней. Налейте-ка нам по глотку виски.

Выпив, Бэн поднялся, походил по кабинету, остановился возле громадного американского флага, установленного за его креслом, повернулся в профиль и сказал:

– Пусть сделают хорошие снимки и распространят в прессе. Фас у меня дурной, а в профиль смотрюсь. Эта страна любит, когда о патриотизме говорят крикливо. Пойдем им навстречу.

Потом он подошел к телефону и, сняв трубку, заметил:

– Учитесь у меня делу, Грюн. Я люблю вас, поэтому учу бесплатно.

Набрал номер телефона генерала Стонера, руководившего в Пентагоне подразделениями связи и оповещения.

Девять лет назад Стонер работал в наблюдательном совете ИТТ, потом концерн делегировал его в Пентагон; там он стал его представителем; рекордно быстро получил генеральские погоны и пост, который позволял ему передавать Бэну самые выгодные заказы для армии.

– Добрый день, генерал, – сказал Бэн. – Было бы очень славно, найди вы время поужинать со мною. Если завтра свободны, я берусь зарезервировать столик в ресторане, который вы мне сейчас назовете. Я бы выехал в Вашингтон первым поездом и в двенадцать готов встретить вас там, где скажете.

Уговорились встретиться в двенадцать тридцать, за полчаса до ленча.

Бэн опустил трубку, постоял у телефона в задумчивости, поинтересовался:

– Вы не находите, что я хую, Грюн?

– Чуть-чуть.

– Рак?

– Не кокетничайте.

– Я говорю серьезно. У меня появились боли под ложечкой.

– Значит, надо лечь на обследование.

– А кто будет обедать с генералом Стонером? Вы?

– Мог бы. Он дубина, мне с такими легко договариваться.

– Ошибаетесь. Он не дубина. Он играет эту роль и делает это ловко. Поверьте, я знаю его восемь лет, в ИТТ он был совершенно другим, вас тогда еще не было, Грюн. А теперь обсудим второй вопрос: кому мне звонить – Вильяму Доновану, непосредственно в штаб-квартиру ОСС, или же Джону Фостеру Даллесу?

– Конечно, Даллесу.

– Почему так категорично?

– Потому что Донован плохо относится к вам, он вам не верит, считает европейцем, а не американцем, и к тому же подозревает в конспиративных связях с нацистами.

– Аллен Даллес связан с наци более тесно, чем я.

– Он связан лишь с теми, кто так или иначе стоит в оппозиции к Гитлеру. Донован слепо ненавидит фюрера. Он не допускает мысли о контактах с теми, кто относится к Гитлеру иначе. И главное – у него нет никаких интересов ни в ИТТ, ни в рейхе.

Бэн набрал телефон Даллеса; один из руководителей республиканской партии, он, тем не менее, чаще всего работал в своей адвокатской конторе «Саливэн энд Кромвэл» на Уолл-стрите.

– Здравствуйте, полковник, – пророкотал Даллес своим сильным, хорошо поставленным голосом, – рад слышать вас, что нового?

– Как говорят, все новое – хорошо забытое старое. А что мы все позабывали? Дружество! Когда сможете найти для меня время?

– Хотите поручить мне судебный процесс против врагов? – хохотнул Даллес. – Это будет дорого стоить, у вас сильные противники.

– Можете назвать их поименно?

– Поскольку по условиям военного времени нас могут подслушивать и это не есть нарушение конституции, лучше бы сделать это при встрече.

– Назначайте время.

- Давайте завтра пообедаем.
- Идеально было бы сегодня поужинать, завтра я занят.
- К сожалению, у меня сегодня вечером встреча с людьми из Швеции. Впрочем, я бы смог освободиться, скажем, в пять. До шести я в вашем распоряжении.
- Спасибо, Джон. В пять я буду у вас. Или встретимся на нейтральной почве?
- Имеете в виду Швейцарию? – снова усмехнулся Даллес. – Мы не успеем туда добраться к пяти.

...Выслушав полковника, Даллес ответил не сразу; помолчав, сказал задумчиво:

- Заманчиво, бесспорно заманчиво. Вы обговаривали это предложение с Донованом?
- Нет.
- Почему?
- Потому что сначала я решил обговорить его с вами.
- А с государственным департаментом?
- Ах, Джон, это невозможно! Вы же прекрасно знаете, в чем сокрыта трагедия нашей административной машины...

– В чем же? – улыбочиво поинтересовался Даллес.

– Ладно, я – проклятый воротила, акула бизнеса и так далее, а вы – соловей, все верно, легко заткнете меня за пояс, если нам случится соревноваться в красноречии, но в вопросах стратегии дела не тягайтесь со мной, положу на лопатки... Что получает чиновник государственного департамента от удачи той или иной внешнеполитической акции? Хрен в сумку, ноль. А я получаю. Вы как адвокат тоже. Если бы им платили с выгоды, если бы они хоть в малости были заинтересованы в результате своего труда, тогда бы я мог с ними говорить. А при нынешнем положении вещей это бесполезная затея, меня тамошние мыши не поймут.

– Хорошо, отложим контакты с государственным департаментом до лучших времен. Пентагон?

- Там все в порядке.
- Военная разведка вас поддержит?
- Да.
- Как я понимаю, этот вопрос вы еще до конца не обговорили?
- До конца – нет.
- Когда решится?
- Завтра.

– Прекрасно. Я найду возможность связаться с Алленом. Если вы заручитесь поддержкой Пентагона, его интерес к доктору Вестрику будет вполне оправдан. Но... – Даллес полез за сигарой, заботливо обрезал ее, но раскуривать не стал. – Очень существенное «но», полковник. Вестрик должен приехать к Аллену не с пустыми руками. Как вы сможете изложить вашему компаньону свой дерзкий план? Закажете разговор с Берлином? «Подумайте, дорогой Вестрик, как будет прекрасно, если вы уговорите Геринга стать агентом Аллена Даллеса!»

Бэн засмеялся:

– Сюжет можно продать Хичкоку, отчаянно веселая комедия... О Вестрике не беспокойтесь, он приедет к Аллену не с пустыми руками. И я вернусь к вам в Нью-Йорк с полными руками. В пятницу я готов подробно рассказать и про Вестрика, и про Пентагон, дело за вами.

В тот же день Грюн вылетел в Буэнос-Айрес, к Арнолду, генеральному представителю ИТТ в Аргентине.

Наутро тот устроил Грюну телефонный разговор с Вестриком (был использован шифр, которым компаньоны обменялись за два дня перед катастрофой на Пёрл-Харборе): «Полковник Бэн просит доктора Вестрика найти возможность приехать в Швейцарию и посетить в

Берне мистера Даллеса для того, чтобы обговорить с ним возможность постоянных контактов. Вопросы, которые надлежит обсудить, касаются интересов ИТТ в рейхе и тех странах Европы, которые ныне стали частью Германии. При этом дальнейшее развитие предприятий ИТТ в рейхе гарантирует поддержку мистером Даллесом тех проектов по приобретению запрещенных предметов экспорта, в которых заинтересованы дочерние предприятия концерна, в том числе и заводы «Фокке-Вульф». Однако для обеих сторон представляется целесообразным оформлять эти деловые контакты не как встречи, связанные с бизнесом, но как обмен политической информацией секретного характера».

Доктор Вестрик записал шифрованное послание, пообещал позвонить завтра вечером, поехал с текстом в штаб люфтваффе, был принят Герингом и получил от него санкцию на действия.

Через двенадцать часов он позвонил Грюну и, используя тот же шифр, сообщил, что отправится в Швейцарию на следующей неделе; было бы идеально встретиться там с полковником или его наиболее доверенным представителем накануне беседы с мистером Алленом Даллесом. «Лучшее место встречи – отель «Гельвеция». Мои друзья сожалеют, что информация о выходе британских судов со стратегическими товарами стала поступать в Берлин нерегулярно; активизация этой работы поможет мне заручиться еще большей поддержкой у тех, кто питает традиционные чувства уважения к полковнику и тому делу, которому он служит».

Когда Грюн позвонил в концерн, ему передали, чтобы он вылетал не в Нью-Йорк, а в Вашингтон, полковник ждет его незамедлительно.

Назавтра Грюн – злой, помятый и невыспавшийся (плохо переносил полеты) – был в Вашингтоне. Вечером генерал Стонер поздравил Грюна с присвоением звания майора вооруженных сил США и определил его на работу в военно-воздушную разведку Пентагона.

Через семь дней Аллен Даллес сообщил в штаб-квартиру ОСС, что им «привлечен доктор Вестрик, понявший неизбежность краха Гитлера». Даллес подчеркивал, что доктор Вестрик принял на себя обязательство охранять – используя свои связи в нацистском партийном и дипломатическом мире – интересы ведущих концернов США не только во время войны, но и после ее окончания. О том, что Вестрик возвращается в Берлин с контрактом, подписанным для него представителем ИТТ, на поставку заводам бомбардировщиков «Фокке-Вульф» радиоаппаратуры и механизмов слежения за караваном союзников, он, естественно, в Вашингтон не сообщил, там далеко не все понимали, что политика – это политика, она меняется, а вот бизнес неизменен и сиюминутным интересам не подчинен.

...Когда доклад Алана Сэйлера был, наконец, отправлен в государственный департамент и ФБР, верхние этажи Пентагона и ОСС встали на защиту человека, который «так много делал и делает для американской армии и разведки; лишь понятная некомпетентность А. Сэйлера, который не допущен к высшим секретам, позволила ему поставить под сомнение искренность выдающегося патриота, каким по праву считается полковник американской армии С. Бэн».

...Когда первые американские части 25 августа 1944 года вошли в Париж, Бэн вместе с сыном Вильямом въехал в город в военной форме; джип был набит ящиками с шампанским; он сразу же направился в здание, где помещался французский филиал ИТТ.

– Граждане, друзья, братья! – сказал он собравшимся там работникам. – Поздравляю вас с освобождением от мерзкой нацистской тирании! Американцы всегда были, есть и будут самым надежным гарантом вашей свободы! Да здравствует Республика!

Через пять дней Бэн воссоздал форпосты своей империи во Франции. Затем он ринулся в направлении Брюсселя и Антверпена, захватил и там плацдармы. Как только войска союзников вступили в рейх, Бэн встретился в Берне с доктором Вестриком, однако после сигнала, который получил от своих друзей из разведки Пентагона, контакты с ним временно прервал, поручив текущую работу по Германии своим вице-президентам Гордону Керну и Кеннету Сток-

тону; этому было легче работать, потому что Бэн добился – с помощью руководства Пентагона – присвоения Стоктону звания бригадного генерала. Люди Бэна захватили громадные заводы «Лоренц», выпускавшие телефонное оборудование, сообщив прессе, что это сделано в интересах американской армии, поскольку оккупационным властям необходима надежная связь для «продолжения борьбы с нацистами и их последышами, а никто не сможет помочь армии в этом деле, кроме ИТТ, традиционно сотрудничающей с Пентагоном». С подачи Вестрика люди ИТТ наложили руку на филиалы концерна «Сименс» и на предприятия авиационного гиганта «Фокке-Вульф». Это и переполнило чашу терпения конкурентов, которых Бэн обошел на две головы; «обиженные» банки и концерны имели своих людей в министерстве юстиции; удар против Бэна был нанесен сложный, обходной: от Белого дома потребовали – уже заранее, до победы, – продумать поэтапную декартелизацию и денацификацию германской промышленности, чтобы она никогда впредь не стала орудием в руках маньяков типа Гитлера. Замах был хорош, только удара не получилось: конкурентам удалось договориться лишь о декартелизации «И. Г. Фарбениндустри», было решено разделить гигант на семь фирм; ни «Лоренц», ни «Сименс», ни «Фокке-Вульф», готовившие Гитлеру базы для производства самолетов, фау, радиостанций и средств связи, не подпали под проект закона о декартелизации и денацификации. Тем не менее «драка под одеялом» продолжалась: генеральный прокурор Том Кларк незадолго перед окончанием войны подготовил заявление:

«“Интернэшнл стандарт электрик компани” (ИСЭК), являющаяся европейским филиалом ИТТ, поддерживала постоянные контакты с нацистским агентом доктором Герхардом А. Вестриком. Это позволило ИТТ передать нацистам огромное количество стратегических материалов и лицензий, что нанесло существенный урон не только престижу Соединенных Штатов, но и частям нашей армии, сражавшимся в Европе против гитлеровской тирании. Все это происходило по прямому указанию президента ИТТ Состенса Бэна». Джон Фостер Даллес позвонил Бэну и, по своей привычке посмеиваясь, сказал:

– Полковник, надо продержаться пару месяцев, это последние всплески... Деловую сторону вопроса я беру на себя, а вы придумайте какой-нибудь спектакль для публики; хлеб у вас есть, устройте зрелище.

И через три дня после обеда Состенса Бэна с генералом Стонером и Форрестолом, обеда, который перешел в ужин, Пентагон объявил о награждении Бэна высшей наградой Соединенных Штатов «за заслуги перед армией».

...А после этого он срочно вылетел в Швейцарию, на встречу с Алленом Даллесом.

...Поскольку провинциализм въедлив и трудно изживаем, Бэн конечно же устроил прием в роскошном «Паласе»; закрыл ресторан для посетителей, откупив его на ночь только для себя; отправил за Даллесом два роскошных «паккарда», хотя тот предпочитал ездить в неприметном «фордике» (бензин в Швейцарии нормировался, жестокая карточная система была введена еще после того, как немцы оккупировали вишистскую Францию, – последняя артерия подвода топлива из Марселя была прервана, английская блокада давала себя знать); зачем-то повелел остаться музыкантам, и поэтому, помимо двадцати официантов, на гостя полковника таращились скрипачи, трубач, пианист, ударник и тромбонист, игравшие арии из оперетт вперемежку со старомодными фокстротами конца двадцатых годов.

Конечно же на столе стояла серебряная ваза с икрой (не менее двух фунтов), омары; вместо горячей закуски принесли лобстеров<sup>10</sup>, огромных, как ботинки; на хрустальных подносах (совершенно диковинной работы) высились тропические фрукты, даже плоды авокадо, которые и в Штатах-то стали роскошью в дни войны.

Бэн произнес тост; сначала он был витиеватым, затем, однако, обрел форму **повестки** дня, ибо он умудрился заложить туда все пункты, которые намеревался обсудить с «личным

<sup>10</sup> Лобстер – средиземноморский рак.

представителем президента Соединенных Штатов», с тем, кто бесстрашно направляет борьбу народа на той линии огня, которая выдвинута далеко вперед, ибо будущее Америки немислимо без Европы, которая восстанет из пепла, превратившись в бастион демократии и прогресса, старая вражда уступит место новой дружбе, поскольку, воистину, существует время бросать камни и время собирать их, есть время уклоняться от объятий и время заключать в них тех, кто помнит заповедь, гласящую: «Род приходит и род уходит, но земля пребывает вовеки».

Даллес ответил экспромтом на отвлеченную тему, спросил, какой чудесник доставил сюда лобстеров, поинтересовался, сколько времени потребовалось Бэну на то, чтобы организовать такую сказку Шехерезады в Берне, выслушал ответ («всего два дня, пока еще есть деньги на то, чтобы оплатить самолет в Касабланку и Танжер»), понял, что за это время стол мог вполне быть оборудован звукозаписывающей аппаратурой, – кому не хочется узнать, о чем говорит ИТТ с разведкой, – и поэтому за все время приема ни на один заход Бэна прямо не ответил, много шутил, а когда полковник, не выдержав размытых дипломатических штучек, прямо поставил вопрос, какой Даллес видит послевоенную Европу и что он, Бэн, может сделать для того, чтобы не повторилась трагедия Версаля, Даллес, мягко улыбувшись, спросил разрешения прочесть стихи любимых им китайцев и, естественно, получив это разрешение, продекламировал:

– Милее нет осенних хризантем,  
Весной сплету венок из орхидей...  
Но с этим после. Надо между тем  
Предвидеть все. Нигде не проглядеть.  
А император? Если против он?  
И вот стою, в раздумье погружен.

Бэн слушал Даллеса несколько по-детски, чуть приоткрыв рот от восхищения («Не любит читать, – сразу же отметил Даллес, – видимо, относится к числу тех, кто предпочитает слушать или смотреть, для таких людей кинематограф сделался главным источником информации; довольно опасно, если они сделаются неуправляемыми, слишком сильными, но в то же время крайне удобно, если удастся взять верх над такого рода характерами»); когда тот закончил стихотворение, полковник искренне и громко – по-детски – захлопал в ладоши.

– Кто ж это такое сочинил, а?!

– Синь Цици, воин и поэт, романтик, мечтатель и стратег, совершенно поразительная фигура в гирлянде китайских талантов. Заметили, как тонко и точно он проводит свою линию, обращаясь к императору? Весь смысл этого стихотворения в том, чтобы император впредь не допускал несправедливости; неужели ему, Синю, придется прожить жизнь в стороне от политической борьбы? Он оставил это стихотворение в императорском дворце, на том столе, который обычно готовили к чайной церемонии самые доверенные слуги монарха, поэтому был убежден, что стихи будут доложены **наверх**... Как и всякий истинный поэт, он был наивен, полагая, что слуги императора имели непосредственный выход на верховную власть... Нет, главный соглядатай точно дозировал ту информацию, которая обязана появляться на столе живого бога; радостные новости легко шли в спальню, а грустные предавались уничтожению, как и те, кто пытался отправить их наверх...

– Ну и что случилось с этим поэтом? Посадили?

Даллес рассмеялся своим заразительным смехом:

– Полковник, в Китае арест никогда не считался наказанием. Это у них форма продолжения университетского образования, так сказать, докторантура...

Все попытки Бэна разговорить Даллеса наталкивались на шутки, они сыпались, как из рога изобилия.

Когда Бэн, не вытерпев, открыто спросил, что Даллес думает по поводу того, что ищейки министра финансов Моргентау накладывают аресты на контракты, заключенные серьезными людьми с Уолл-стрита даже в третьих странах, особенно в Латинской Америке, жонглируя тем, что в этих сделках заинтересованы нацисты, Даллес, разрезав авокадо, вытащил косточку, положил в открывшуюся лунку плода, чем-то напоминающего яблоко, ложку черной икры и предложил:

– Как вы отнесетесь к тому, чтобы мы прогулялись? Обед был фламандский, его необходимо хорошенько утрамбовать.

На улице было темно уже; швейцарские власти ввели светомаскировку еще в сорок третьем, боялись случайных налетов союзников, а может, как думал Даллес, не хотели дразнить гусей – пересечение границы голодного, затемненного рейха и сытой, ярко освещенной Швейцарии вызывало у берлинских бонз, приехавших сюда, острые приступы завистливой ярости, словно бы они не получили то, чего добивались, словно бы в этом были виноваты (как же это удобно винить других – кого угодно, только не себя!) большевики, евреи и толстосумы с Уолл-стрита.

– Видите дорогу? – спросил Даллес, беря полковника под руку. – Я, как кошка, вижу в темноте.

– Ну а я, значит, вроде тигра, – ответил Бэн. – Вижу лучше котов. Даже десятицентовую монету замечу, поверьте слову...

– Не бросайтесь словом, – вдруг очень резко, как-то неожиданно сурово сказал Даллес и швырнул на тротуар монету. – Ищите.

– Со спичкой найду, – несколько растерянно ответил Бэн.

– За спичку на улице вас оштрафуют. И правильно сделают. Закон войны для всех один, кому это знать, как не вам, военному человеку... Я – что? Беззащитная штатская крыса, а вы – сокол, уставы учили... Не сердитесь, у вас слишком много врагов, чтобы легко бросаться не чем-либо, но словом, дорогого стоит... Вот что я намерен вам сказать... Если вы будете по-прежнему слишком уж открыто лезть в Германию, Голландию или Бельгию, можете не выдержать конкуренции, не вы один имеете здесь серьезные интересы... Как мне известно, у вас много друзей в Испании и Латинской Америке. Почему бы вам – вернув себе в Европе то, что законно и не вызовет бешеной конкурентной злобы, – не сосредоточить максимум внимания на Аргентине, Чили, Боливии, Никарагуа, Парагвае, Кубе? Там ведь все еще очень сильны позиции немцев, с которыми у вас сохраняются завидные отношения... Свято место пусто не бывает...

– Я думаю, недруги несколько преувеличивают мои возможности в Латинской Америке, – ответил Бэн, тщательно взвешивая каждое слово («Спасибо тебе за урок, Даллес, ты меня учи, я способный»). – Кое-что, конечно, есть, но все это далеко не безгранично.

– Не безгранично? Что ж, я готов помочь расширить ваши границы, – сказал Даллес. – Но для этого вы должны поделиться со мной той информацией о полковнике Нероне, которую вам в свое время подарил Геринг.

Бэн почувствовал, как во рту пересохло: «Во время того разговора с рейхсмаршалом в его замке Каринхалле никого не было, ведь об этом мы говорили у подъезда; стоп, рядом с боромом всегда торчали три мумии из охраны; неужели Даллес и туда подкрался? Конечно, подкрался, как он мог иначе получить эти сведения?»

– Какую информацию вы имеете в виду, Аллен?

– Ту самую, – так же жестко, без улыбки, ответил Даллес. – Вы прекрасно понимаете, о чем я говорю. На всякий случай замечу, что я не вношу предложений дважды.

– Ах, это вы имеете в виду возможность национализации телефонно-телеграфной сети в Аргентине? – довольно неуклюже отыграл Бэн. – Геринг сказал, что в окружении Перона есть

люди, разделяющие некоторые аспекты национал-социализма, причем его максималистского, ультралевого направления, штрассеровского, – добавил он, – если мне не изменяет память.

– Память вам не изменила. Меня интересуют эти имена.

– Я должен запросить Буэнос-Айрес, моего директора Арнолда, он там ведет все дело...

– Если Арнолд ответит, что он наладил, после вашего визита к Герингу, дружеский контакт с Гутиересом, будет ли это означать, что он и есть тот человек, который симпатизирует ультралевому нацизму?

«Знает, сукин сын, – понял Бэн, – все знает. И купить – не купишь, на Уолл-стрите он всех обслуживает, богат и независим. Он меня втянул словно в воронку. Как теперь выйти, не роняя достоинства? Что ж, на силу – силой, только так и никак иначе. А какая у меня сила, если он знает, а я нет? Между силой и хамством большая дистанция, нет ничего обиднее, чем выглядеть в глазах победившего глупым».

– Оранья, если мне не изменяет память, придерживался ортодоксальных взглядов... Он когда-то работал с Франко, поддерживал прямой контакт с людьми Геринга... Что же касается Гутиереса, то я готов вам ответить завтра, Аллен... После того, как снесусь с Арнолдом.

– Вы понимаете, что в Аргентине вам будет значительно сложнее получить компенсацию за ваш концерн, если его все-таки национализируют, чем в Бухаресте, у Антонеску?

– Нет, – Бэн покачал головой, – я не думаю, что это будет много труднее. Если же я почувствую определенное неудобство, разрешите мне обратиться в ваш «Саливэн энд Кромвэл», все-таки именно вы помогли Рокфеллеру в Венесуэле, когда там подняли голову левые.

– Вот теперь наш разговор обрел предметный характер. Конечно, «Саливэн энд Кромвэл» готов оказать вам помощь, но лучше, чтоб ее не потребовалось, не так ли?

– Понятно, лучше, кто спорит.

– Не мне вам говорить, что Гитлер всем нам подложил большую свинью. Не начини он своего террора, не развяжи войну, мы были бы по-прежнему крепки на юге нашего континента. Но теперь – и вы это знаете не хуже, чем я, – большинство стран на юге легализовали компартии и установили – или же устанавливают – дипломатические отношения со Сталиным. Пока Рузвельт сидит в Белом доме, окруженный Моргентау, Уоллесами, Икесами и прочими, мы связаны по рукам, он не санкционирует решительных действий. Но он не вечен. Однако за то время, пока он правит, левые успеют закрепиться на континенте, и это плохо. Вы согласны?

– Согласен.

– Что же, по-вашему, можно предпринять, чтобы еще сейчас, пока мы лишены реальной политической силы, оттереть левых, заставить их уважать те правила, которые исповедуем мы, а никто другой?

– Вы говорите, Аллен, говорите, я слушаю. – Бэн ответил сухо, просчитав, что Даллес подходит к тому моменту, когда он, полковник, будет нужен ему больше, чем Даллес ему, Бэну.

– Единственная сила, которая может рьяно противостоять большевизму на юге нашего континента, не оглядываясь на какие бы то ни было нормы морали, – это люди типа Гутиереса, то есть тамошние крайне правые. Единственная сила, которая может вселить в латиносов ужас и страх перед диктатурой, – это национал-социалисты как те, которые ринутся туда из рейха, когда мы похороним Гитлера, так и местные афесионадо<sup>11</sup> нацизма. А если они родят страх перед террором диктатуры, то единственной силой, которая может помочь избавлению от нее, должны стать мы – общество свободы и демократии. Чем поначалу хуже, тем впоследствии лучше. Конкретно: готова ли ваша ИТТ дать укрытие, дом, работу, документы тем тысячам бывших клеветников нацизма, которые уже сейчас держат в своих сейфах аргентинские документы?

---

<sup>11</sup> Афесионадо (*исп.*) – любители.

– То, что вы предлагаете, осуществимо. Ваш стратегический замысел я принимаю целиком, но какое все это имеет отношение к возможной национализации моего филиала в Аргентине?

– Прямое. Как только кончится драка, я оставлю на юге Джекобса... Да, да, брата Эрла, вашего представителя в Испании. Я посмотрю его в серьезном деле, а потом передам ему мои здешние связи. А это вполне надежные связи. Надо сделать так, чтобы те немцы, которым вы дадите укрытие, **зацеловали** Перона, надо, чтобы он был весь в коричневой помаде, это повод к тому, чтобы давить на него в нужном для нас направлении. Сколько вы думаете получить с него – в случае, если он решится национализировать ИТТ?

– Не менее семидесяти миллионов.

Даллес остановился и, хмыкнув, предложил:

– Ну-ка бросьте монету. Бросьте, бросьте, человек с глазами тигра.

Бэн стремительно кинул на тротуар двадцатипятицентовую монету, так, словно все время держал ее в кулаке. Даллес сделал пять быстрых шагов, наступил ногой на темноту, нагнулся и поднял вашингтона:

– Кошка видит лучше тигра. Так-то... Сто миллионов! Я вам обещаю не семьдесят миллионов, а сто. Если, конечно, мы подпишем вечный договор о дружбе и взаимной помощи. Эрго: если вы согласны поставить свою подпись под нашим договором, если вы обещаете сделать ваши аргентинские, чилийские, уругвайские, колумбийские и эквадорские филиалы моими, я готов способствовать тому, чтобы ваши границы значительно расширились. Повторяю, моими, а не всей нашей конторы, – я имею в виду и ОСС, и Донована.

– Вы чего-то не договорили, Аллен. Договор без секретных статей – не серьезен.

– Я все сказал. Вопрос в том, насколько верно вы меня поняли. Точнее: правильно ли вы поняли то, что кандидатуры каких-то людей, которых мистеру Арнолду придется приютить, должны быть необсуждаемы? Какие-то внешнеполитические шаги, которые вы задумаете, придется – если, конечно, найдете время – обговаривать заранее со мной? А какие-то деньги – из тех ста миллионов, которые вы получите, – вам придется обратиться на наше общее дело, обсудив, опять-таки со мной, их вложение?

– Какой может быть сумма вложений?

– Скажем, десять миллионов.

– Не проблема, принято. Во что вкладывать?

– Вы не очень обидитесь, если я отвечу вам на этот вопрос несколько позже?

– Не обижусь. Но я привык рассуждать о грядущем заранее, даже если не знаю всего, что меня ждет.

– А кто об этом знает? Об этом не знает никто, полковник. Об этом знает Бог, а в Него мы верим.

– Вам не кажется, что вы со мной слишком жестко говорите?

– Мы победители, Бэн, нам можно...

– Верно, мы победители...

Даллес покачал головой:

– Нет, полковник, мы, – он тронул себя пальцами в грудь. – Архивы Геринга, Риббентропа, «И. Г.», Гимmlера перейдут – а частично уже перешли – ко мне. А вы очень не заинтересованы в том, чтобы эти архивы сделались достоянием гласности. Вам тогда не подняться. Вас сомнут, как это случилось с Уолтером Тиглом, а он был крепким парнем, Рокфеллер считался с его словом так, словно Тигл был не генеральным директором «Стандард ойл оф Нью-Джерси», а рокфеллеровским дедом. И это случилось в сорок первом, когда архивами нацистов и не пахло.

– Что-то все это смахивает на шантаж, Аллен. Не находите?

– Это не шантаж, а констатация факта. Или – если говорить языком паршивой дипломатии – гарантия выполнения вами секретных статей предлагаемого мною договора о вечной дружбе.

– У вас есть еще одна монета? – спросил Бэн.

Даллес порылся в карманах легкого, чуть коротковатого для его роста пальто, вытащил медяшку и поинтересовался:

– Хотите взять реванш?

– Очень.

Даллес бросил монету; Бэн достал стодолларовую купюру и протянул ее Даллесу:

– У вас есть зажигалка? Попробуйте поджечь. Мы же не уговаривались, каким образом я стану искать монету, важно, чтобы я ее нашел.

– Я должен вас понять так, что вы отказываетесь от моего предложения?

– Именно так. Честь имею.

Через неделю ФБР вызвало для допроса помощника Бэна. В тот же день, только вечером, министерство юстиции уведомило начальника отдела безопасности Грюна (формально он числился «экспертом по внешнеэкономическим связям»), что он должен представить документы о договорах ИТТ с европейскими фирмами, контролируемые Берлином. Наутро против ИТТ был дан залп в ведущих газетах Вашингтона, Нью-Йорка, Лос-Анджелеса, Детройта и Чикаго; вечерние газеты Парижа, Лондона, Брюсселя, Рима и Осло перепечатали статьи из американских газет, сопроводив комментариями, полными многозначительных недомолвок.

В двадцать один час Бэн позвонил Аллену Даллесу и предложил ему выпить чашку кофе; тот посетовал на занятость, поинтересовался, нельзя ли перенести встречу на следующую неделю, и спросил, не может ли он чем-либо помочь, если дело носит экстренный характер.

– Можно подождать до уик-энда, – ответил Бэн. – Просто я тут подписал один договор, и мне хотелось, чтобы вы его проглядели своим соколиным оком – нет ли каких накладок.

– Прекрасно. В субботу я жду вас на ланч, лобстеров не обещаю, икры тем более, что поделаться, дипломат не в силах тягаться со столпом Уолл-стрита, но мясо приготовлю сам, я вымачиваю его в красном вине, думаю, вам понравится.

## Роумэн. (Мадрид, ноябрь сорок шестого)

Он чувствовал, что Криста не спала, затаилась; одна рука была вытянута вдоль тела, а левая лежала у него на груди. Ему даже казалось, что она старается держать ее на весу, чтобы ладонь не давила на сердце, потому что однажды, в самом начале ноября, когда резко изменилась погода и, как обычно, сердце начало колотиться, словно заячий хвост, он осторожно снял ее руку с сердца, виновато при этом улыбнувшись.

Криста поняла и запомнила.

И хотя сердце сейчас уже не молотило, успокоилось после того, как он был с ней, – нежно, исступленно, отрешенно, вместе – она касалась ладонью его груди едва-едва. «Смог бы я так держать свою руку, – подумал он, – вряд ли; женщины сильнее мужчин – даже в этом, ведь она держит руку на весу вот уж минут пятнадцать, а может, больше, ждет, пока я усну, и сама сладко посапывает, хочет обмануть меня, глупышка».

– Не притворяйся, – сказал Роумэн.

– Женщины всегда притворяются, – ответила она, словно ожидая его слов, и рука ее, наконец, расслабилась, опустившись ему на грудь, как раз на сердце. – Им нельзя верить.

– Тебе я верю.

– Зря.

– Почему?

– Не знаю.

– Ты рада, что мы вместе?

– Нет.

– Ты говоришь неправду.

– Я говорю правду. Я не рада этому. Я счастлива. И поэтому очень боюсь, что все кончится.

– Закури мне сигарету.

– Я тоже закурю, можно?

– Очень хочется?

– Ужасно.

– Ты делаешься вульгарной, когда куришь.

– Ну и что? Во-первых, ты меня в темноте не увидишь. Во-вторых, мужчин тянет именно к вульгарным женщинам.

– Молодых – может быть.

– Всех.

– Значит, я – исключение.

– Нет, – сказала она, протянув ему зажженную сигарету. – Не обманывайся.

– Ты говоришь это, потому что снова хочешь быть со мной?

– Не бери это в голову. Я как кошка – хочу быть с тобой постоянно, мне очень хорошо с тобой, только я сразу от тебя уйду, если ты когда-нибудь спросишь: «Было ли тебе так же хорошо с другими?» Извини, что я это сказала, но ужасно боюсь потерять тебя. Нет, я сказала плохо... Потеря – это когда кошелек пропал... Слишком вещественно... Я боюсь потерять себя... Вот...

– Хорошо, что ты это сказала, человек... Я бы обязательно спросил тебя об этом, такова уж наша природа, вроде оленей, сшибаемся рогами – кто выиграет бой на глазах у подруги... Знаешь, я, тем не менее, – только не сердись – спрошу тебя один раз, сейчас, раз и навсегда, не иначе... У нас с тобой большая разница в годах...

– Нет... Ты говоришь не то.

– Пожалуйста, не перебивай. Потом возразишь. Я не хочу тебя обидеть и так же, как ты, очень боюсь потерять себя. У нас с тобой очень большая разница в возрасте... К сожалению...

– К счастью, – сказала Криста. – К счастью для меня.

– Ты снова перебиваешь. Зря...

Криста села и, усмехнувшись, глубоко затагнулась. В этот миг он заметил, какие у нее ужасные синяки под глазами; потом сигарета утратила свой тревожно-траурный свет, снова сделавшись пепельной, – только красный кружок в ночи определяет то, что через несколько минут исчезнет навсегда, превратившись в прах, который раньше был табаком, вымоченным в меду.

– Я перебиваю тебя, потому что воспитывалась в эпоху оккупации; пять лет – это срок... Поэтому не умею слушать...

– Ну, постарайся...

– Хорошо.

– Когда я читаю Шекспира, то думаю о доброте человечества, конопушка... Мир очень поумнел с той поры, когда он публиковал свои пьесы... Биология и медицина стали общедоступными науками... Мы все знаем о физиологии... От нее никуда не денешься... Так что нет нужды врать друг другу с самого начала... Поэтому, когда ты, храня свою любовь ко мне вот здесь, – он притронулся пальцем к ее груди, – и здесь, – он медленно переместил палец к ее голове, – тем не менее почувствуешь, что тебе недостает меня вот тут, – он постучал ладонью по кровати, – ты скажешь мне об этом открыто, и мы, как друзья, только так и никак иначе, подумаем, как следует поступить. Ты можешь мне обещать это?

– Должна.

– Почему «должна»? Я спрашиваю: сможешь ли?

– Хочешь прочесть лекцию о физиологии женщины? Мне это ужасно интересно... никто ничего не знает о физиологии, потому что этой паршивой, но, увы, необходимой науки не существует отдельно от духовности. Если ты постоянно думаешь: «Как ей со мной, чувствует ли она меня?» – значит, ты мне не веришь и считаешь шлюхой, которая забралась к тебе в постель... Да, да, так! Значит, я умею притворяться, то есть лгать тебе, если могу делать вид, что мне хорошо, а на самом деле я мечтаю совершенно о другом... А как можно быть вместе с такой женщиной? Это же сплошное страдание... – Она жестко усмехнулась. – Разведка какая-то, а не любовь... Запомни: нет плохих мужчин. Все зависит от того – любит его женщина или нет, хорошая она или плохая, лгунья или честная, ханжа или умная... Вот и все. Ты умеешь замечательно слушать... И я никогда, никогда, никогда, никогда, никогда, никогда никого не любила, кроме тебя, и только с тобой, здесь, – она тоже хлопнула ладонью по кровати, – я впервые узнала, что такое чувствовать мужчину... Если б ты был со мной одногодком, я бы постоянно просила у Бога красоты себе, я бы бежала возраста, я б жила в страхе за то, что ты увлечешься другой, они же еще такие хлипкие, наши одногодки, такие неперебесившиеся, а ты... Я молю Бога только о том, чтобы ты всегда был рядом и ни в чем не разочаровался во мне...

– Иди ко мне, – сказал Роумэн.

Она легла, прижалась к нему и сразу же опустила левую руку на его сердце; плечо сделалось твердым – держит руку на весу.

– У меня сейчас не болит сердце, – сказал он.

– Да?

Плечо обмякло, расслабилось.

– Оно у тебя часто болит?

– Когда меняется погода. И не болит, а молотит.

– Хочешь, вылечу?

– Конечно.

Она стала целовать его грудь, прикасаясь к соску губами осторожно, словно к новорожденному.

«Как странно, – подумал Роумэн, глядя ее по голове, по тяжелым, разбросавшимся волосам, – женщина, только-только родив ребенка, уже знает, как его надо держать на руках, как обнимать, а все мужчины пугаются, что малыш сломит шейку или подвернет ножку, они же такие у них нежные, как у цыплят... А женщина бесстрашна со своим младенцем, это ее. Страшно терять себя, она права, но еще страшнее потеря своего ребенка, и в этом нет ничего от собственника, в этом – преступление перед родом человеческим, потому что каждый ребенок – это чудо и тайна, неизвестно, кем он мог стать. Христос сделался Христом потому, что его распяли, когда он состоялся уже, а ведь, может быть, множество маленьких пророков ушли в небытие, не успев оставить по себе память словом...»

– Ты не хочешь сменить профессию? – спросил он, продолжая гладить ее тяжелые, словно бы литые волосы.

– Нет.

– Намерена продолжать возиться с цифрами?

– Да, – ответила она, оторвавшись на мгновение от его груди.

– Я против.

– Тогда поменяю. На кого?

– На врача-кардиолога.

– Хорошо.

– А я уволюсь со своей паршивой службы и сделаюсь твоим менеджером.

– Наладишь рекламу?

– Еще какую!

– Как это будет звучать?

– Пока не знаю. Это очень трудно выразить, не подумав... Данте Алигьери долго ломал голову, прежде чем сделал свою работу.

– Тебе не кажется, что он очень скучный?

– Каждый возраст рождает свое качество интереса, человек... В литературе, бизнесе, любви, религии. В двадцать лет я не мог его читать, засыпал над страницей.

– А я просила папочку рассказывать про этого самого Данте. Он умел самые скучные вещи рассказывать невероятно интересно... Ему самому было интересно, знаешь... Он был как большой ребенок – так увлекался всем, так влюблялся бог знает в кого...

– А мама?

– О, мамочка его обожала... И потом она знала, что он великий ученый, поэтому прощала ему все... нет, я сказала неверно, она просто на все то не обращала внимания, это же не главное, это нижний этаж, а художники и поэты всегда живут в мансардах... то есть наверху... Им верх важнее, чем низ... Знаешь, как папа привил мне любовь к математике?

– Откуда же мне знать?

– Да, действительно...

– Расскажи.

– У тебя прошло сердце?

– Совершенно.

– Я тоже так думаю... Оно не молотит...

– Расскажи...

– Папа прекрасно изображал сказки... Он больше всего в литературе любил сказки... Когда он прочитал вашего писателя... Как же его... А, вспомнила, Хемингуэй... Вы странные люди, пишете «Хэмингвай», а читаете «Хемингуэй»... Вы, наверное, очень хитрые и скрытные... Как японцы... Те вообще себя закодировали в иероглифах... Так вот, когда папа прочитал «Фиесту», он сказал: «Это – сказочная книга». А он так лишь про Ибсена говорил, Чапека,

Рабле и Шекспира... «Сказочные книги»... Да... Ну вот, он и начал путать меня с гусями, на которых летал Нильс, чтобы научить решать простейшие задачи... Я забыла, как он меня путал, втягивая в игру...

– Родишь ребенка – вспомнишь.

«Ох, как же она замерла, – подумал он, – бедная девочка, каждое мое слово она просчитывает сейчас, она все время хочет мне сказать что-то и не решается, а я не должен помогать ей, это как подсматривать... А показывать свое всезнание – рискованно, да и есть ли оно? Обыкновенный навык работы, профессия. Дураку ясно, что просто так ее ко мне не привезли: со мной торговали ею, с нею – мной. Чего они требовали от нее?» И вдруг он услышал в себе вопрос, которого не имел права слышать: «Ты убежден, что требовали? А если вся операция рассчитана именно таким образом?»

– Закури-ка мне еще раз, а? – попросил он.

– О чем ты сейчас подумал? Ты подумал о чем-то дурном, да?

– Да.

– Скажи мне, о чем. Ну пожалуйста, скажи мне! Я думала тоже о дурном, скажи мне, прошу тебя!

– Скажу. Только мы сейчас с тобой оденемся и поедem в город, все равно не уснем после сегодняшнего.

– Вчерашнего. Сегодня уже завтра, милый. Три часа, люди спят.

– Это в Норвегии люди спят. Или в Штатах. Колбасники в Мюнхене тоже спят. А испанцы только-только начинают гулять. Одевайся. Едем.

– Куда?

– Увидишь.

Свернув от Пуэрто-дель-Соль направо, они проехали по маленьким улочкам до Пласа Майор, бросили машину на площади, окруженной коричневыми декорациями средневековых домов, спустились на улицу (**улочку** – так точнее) Чучиньерос; задержавшись на миг возле скульптурного креста в языках металлического пламени, Роумэн спросил:

– Знаешь, что это?

Криста покачала головой.

– Это памятник ста пятидесяти тысячам евреев, которых здесь сожгли инквизиторы.

– А говорят, что у Гитлера не было учителей.

Он кивнул:

– Знаешь, что такое Чучиньерос?

– Нет.

– Улица названа в честь ложечников и вилочников; всего триста лет назад она была за городом, можешь себе представить? Здесь хорошие ресторанчики, мы с тобой пойдem в «Каса Ботин», самый древний в городе – четверть тысячелетия...

– Зачем? Ты не хотел быть дома? Думаешь, нас с тобой подслушивают, и не надо говорить в твоей квартире?

– В нашей квартире. Говори что хочешь. Постарайся забыть, что было.

– Нет, этого я никогда не смогу забыть.

– Забудешь. Обещаю тебе. Идем.

В маленьком ресторанчике веселье шло вовсю, хотя был уже четвертый час, – табачный дым, музыка, громкий смех. Испанцы разбиваются в ресторанах на **громкие** столы – каждый совершенно автономен, живет своей жизнью, не обращая внимания на то, что происходит рядом: мой стол – мой мир, все остальное не касается меня, пусть живут как хотят.

Хозяин сокрушенно покачал головой, поздоровавшись с Роумэном:

– Надо было б заранее позвонить, сеньор. Очень трудно с местами. Если не обидитесь, я вынесу вам столик из кладовки... Он, конечно, не дубовый, придется накрыть скатертью...

– Да хоть бумагой, – ответил Роумэн. – Моя жена и я хотим попрощаться с Мадридом.

– Сеньор покидает Испанию?

– Испанию нельзя покинуть. Мы уедем в Штаты на медовый месяц. Оттуда прилетают к вам, а мы отсюда поедem к ним, – видите, я уж и про своих родных американцев стал говорить как про чужих: Испания растворяет в себе каждого, кто провел здесь больше года.

– Щелочь, – согласился хозяин. – Разъедает без остатка. Моя мама была француженка, но я так ненавижу лягушатников, словно она была немкой. Правда! Пока будут делать стол, я покажу сеньоре наши подвалы. Прошу вас, сеньора. Только нагните голову, чтобы не набить шишку, очень крутые ступени. Наш дом построен на обломках крепостной стены, сложена из кремня, никакая бомба не достанет. Когда начнется новая война, приходите ко мне, никакого риска, абсолютная гарантия жизни.

– Нет уж, – усмехнулся Роумэн. – Спасибо, но лучше не надо.

– Надо, – обернувшись к нему, тихо сказала Криста. – Чтобы добились тех гадов, кто уцелел...

– Это ты про тех, кто сегодня был у нас в гостях?

Женщина ничего не ответила, пошла вниз по крутым лестницам еще быстрее; подвал был сложен из красного кирпича; балки крашены яркой белой краской; кое-где видны глыбы кремня, не задекорированные новым дизайном, – кремень таил в себе запах пороха и ожидаемого огня. Память выборочна, она хранит в себе стереотипы, но в зависимости от уровня интеллекта того или иного человека высверкивает такая аналогия, по которой можно прочитать характер личности.

«Это она сказала про кремневую ожидаемость огня или я подумал об этом?» – спросил себя Роумэн. По тому, как хозяин, рассмеявшись, ответил Кристине, что об этом ему говорил великий дон Пио Барроха, он понял, что Криста сказала именно то, о чем он только что думал.

– Мы действительно летим к тебе в Штаты? – спросила Криста.

– Да.

– Когда?

– Потом, ладно?

Она показала глазами на спину хозяина, который двинулся к следующей двери, что вела в бodega, и Роумэн чуть кивнул ей в ответ.

– Я веду вас в святая святых, – пояснял между тем хозяин, спускаясь первым. – Здесь мы храним лучшие вина из Ламанчи, от сеньора Дон Кихота, даем только самым уважаемым гостям. Вы, – он улыбнулся, – получите от меня одну из этих бутылок. Правда. Вот эту, – добавил он, взяв с металлического стеллажа старую бутылку; так, однако, только казалось – пыль обсыпалась, и стала явственно видна свежая этикетка. «Ну, хитрецы, – понял Роумэн, – они специально присыпают новую бутылку пылью и землей, чтобы она за месяц приобрела соответствующую товарную ценность: “пятнадцатилетняя выдержка”!»

– Ах, я всегда путаю стеллажи, – смутившись, заметил хозяин. – Винами занимается мой младший, Доминго... Эта бутылка свежая, позапрошлогodняя. Правда.

«Зачем врать в малости, – подумал Роумэн. – Это же та мелочь, которая ставит под сомнение всего человека. Ну отчего мы столь эгоцентричны, что полагаем, будто другие не заметят то, что заметил ты сам?!»

Когда они поднялись в зал, столик уже накрыли; свет, однако, притушили, хотя народу за те минуты, пока их не было, стало, казалось, еще больше, – четыре часа утра, разгар мадридского веселья...

– В чем дело? – спросил Роумэн хозяина. – Будет сюрприз?

– Да, – ответил тот. – Ко мне попросились два безработных артиста. Я их кормлю и пою, пока они ищут себе антрепренера, а по ночам за это раза два они выступают перед постоянными гостями. Один наш, Педро Оливьера, другой француз, – как же я ненавижу эту нацию скряг, если б вы знали! Правда! Извращены, жадны до глупости и при этом огромный гонор! Но фокусничает этот парень хорошо, убедитесь сами... Очень странный парень, он к тому же рисует и прекрасно играет на скрипке. Правда. Я спросил его, отчего бы ему не поступить в оркестр, а он ответил... Знаете, что он ответил?

– Знаю, – сказала Криста. – Он ответил, что лучше быть «звездой» в маленьком, но своем деле, чем последней скрипкой в самом лучшем оркестре.

– Вы знакомы с ним? – удивился хозяин, и по тому, как он удивился, Роумэн понял, что Криста угадала. «А я бы ответил иначе, спроси он меня, а не Кристу. Я бы ответил так: «Фокус – власть; люди – подданные. Скрипка слишком нежна и хрупка, чтобы позволить мне ощущать свою силу». Каждый о своем, – подумал он, – а обгаженный – о горячей ванне».

Фокусник был маленький, сутулый, причем он не играл сутулость, он действительно был таким, с круглыми водянистыми глазами; веки набухшие, видимо, болен парень, почки или сердце.

Он достал из кармана старого, лоснящегося фрака пачку «Дукадо», открыл ее, вынул сигарету, протянул людям, сидевшим ближе всех к нему, попросил пощупать – достойным жестом, ничего от клоуна, который хочет рассмешить собравшихся, нет, просто человек делает свою работу: «Сейчас я стану вас дурить, а вы поймите меня, попробуйте-ка, тогда можете освистать, прогнать взащей, опозорить, только сначала поймите, вы же за этим пришли сюда; когда вы смотрите мою работу, вам более всего хочется заметить, как я дурю вас, бедные вы мои люди, но я не доставлю вам этого удовольствия, не ждите; фокус – математика, ее понимают единицы из миллионов; наука избранных; холодная, отрешенная, а потому чуть снисходительная к другим, но очень при этом требовательная».

Сигарету фокуснику вернули, он легко бросил ее в угол рта, сжевал, достал следующую и так же легко, поймав ее ртом, прожевал, словно кусок торта. И так он сжевал все сигареты, одну за другой, – двадцать штук; он не стал икать, хвататься за живот, изображая резь в кишечнике (Роумэн, кстати, ощутил ее), или падать на пол, дрыгая ногами, а можно было бы: здесь любят предметное выявление состояния, люди платят деньги за то, чтобы видеть.

Он постоял несколько секунд в задумчивости, обводя притихших посетителей своим грустным взглядом, а потом – неожиданно хлопнув ладонями над головой – начал пускать из носа, ушей, рта клубы табачного дыма, а после выплюнул на пол кусок огня и, не поклонившись даже, ушел, потому, видимо, что над ним слишком уж животно смеялись...

– Ты заметил, какие у него руки? – спросила Криста.

– Да. Странно, у него испанские руки. В Прадо... – начал было он и запнулся. – В Прадо, – повторил он, – ты можешь заметить, что у тех испанцев, которые позировали Эль Греко, Гойе, но особенно Мурильо, – апостольские, указующие руки. У этого – такие же.

– Ты споткнулся, когда помянул Прадо... Почему? Оттого, что именно там меня видели с Кемпом?

– Да.

– Ты думал, что упоминанием Прадо можешь обидеть меня?

– Да, пожалуй. Но мне самому тоже было неприятно произносить это слово, хотя я так любил его раньше...

– Отведешь меня завтра в Прадо?

– Конечно.

– Я там работала, – сказала Криста чуть не по слогам, – поэтому не смела смотреть живопись.

– Ты хочешь сейчас выговориться про свою работу? – спросил он. – Можешь, если тебе это надо.

– Я не знаю, чего я хочу, милый... не сердись... Я должна тебе рассказать...

Она не успела закончить, потому что вышел второй фокусник, испанец, и все зрители зааплодировали ему, выражая свою симпатию сдержанным дружеским «оле!».

Этот вел себя иначе: слишком ломко поклонился («Я так смеюсь, – подумал Роумэн, – давно я так не смеялся, целую вечность, с того дня, когда Штирлиц сказал о Прадо»), слишком фамильярно подмигнул хозяину, слишком резко выбросил в сторону правую руку и, чересчур фокусничая, провел левой рукой по большому и указательному пальцам сплошную красную линию каким-то особенным, очень мягким и ярким мелком – получился рот. Затем он надел на безымянный палец куклу, и красный рот начал диалог со смешным, встрепанным человеком. Рука сместила гостей, рассказывала про собравшихся какие-то истории. Потом брат хозяина, Доминго, вынес клетку с огромным попугаем, и начался разговор троих, а после сам хозяин вытащил громадную голову из папье-маше. Теперь разговаривали уже четыре существа – встрепанный человек на безымянном пальце, рот, составленный из указательного и большого, попугай и голова из папье-маше. Фокусник был недвижим, только заметно, как резко напряжена его шея: чревоустройство – трудная профессия, не меньше шести часов ежедневных репетиций, а когда же он, бедный, бегаёт в поисках антрепренеров?!

– Это искусство, – сказала Криста, зааплодировав первой.

Чревоустройство заметил это; кукла и красный рот немедленно повернулись к ней:

– Мы нравимся вам, сеньора? Спасибо, нам очень приятно, что мы пришлось по душе такой гвапе<sup>12</sup>, свои-то мало что понимают в нашем искусстве, свои никогда не ценят при жизни артистов, только чужаки отмечают в нас талант, правда? – обратился встрепанный человек к попугаю.

– Холер<sup>13</sup>, – ответил тот, – истинная правда.

– А ты эмигрируй! – воскликнула страшная голова из папье-маше.

В зале притихли: такого рода шутки были не по душе Пуэрто-дель-Соль<sup>14</sup>.

– Оле! – крикнул Роумэн и зааплодировал. Все засмеялись успокоенно – кто-то **рискнул** первым, слава богу, на мне никакой ответственности, однако от аплодисментов люди воздержались, ограничились одобрителем «оле!», к делу не пришьёшь, да и потом голос в толпе еще надо доказать, а жест заметить значительно легче, – в каждом ресторане ночью появляются шпики из секретной полиции, кто знает, нет ли их и сейчас?

– Меня заставляли репетировать встречу с тобой, – сказала Криста. – Ты не представляешь себе, как это было унижительно... Они спросили, правда ли, что я люблю тебя. Я ответила, что ты просто хороший партнер в постели...

– Да?

– Ты понимаешь, отчего я именно так ответила?

– Нет.

– Потому что палачам никогда нельзя показывать, кого ты любишь. Они обязательно этим воспользуются, будут жать именно на это, выкручивать руки, сулить, доказывать, унижать... Я знаю, я испытала это на себе, потому что просила за па...

– Я знаю.

– Я понимаю, что знаешь. Но ты дослушай меня все-таки. Я не скрывала своей любви к нему. Более того, я объясняла им, за что я люблю... любила папочку... Я пыталась рассказать им, какой он умный, честный, красивый, как он добр к людям... Понимаешь? Я рассказала

<sup>12</sup> Гвапе (*исп.*) – красавица, душенька.

<sup>13</sup> Холер (*исп.*) – ругательство.

<sup>14</sup> Пуэрто-дель-Соль – площадь в Мадриде, где находилась франкистская охранка.

им такое, что они смогли использовать в тюрьме – против папы. Они пугали его, что я тоже арестована... иначе откуда бы они узнали такое о нем?

– Ты рассказывала об этом Гаузнеру?

– Ему тоже. Ты ведь теперь, наверное, знаешь имена всех, кому я рассказывала про папу...

– Да.

– Ох, как хорошо, что ты так ответил, милый...

– А как бы я мог ответить иначе?

– Ты мог солгать.

Он покачал головой:

– Ложь укорачивает жизнь.

– Когда как.

– Ты имеешь в виду «ложь во спасение»?

– И это тоже.

– Может быть. Только я всегда стараюсь говорить правду.

– Даже когда говоришь со своими агентами?

– Да, – он усмехнулся. – Им-то как раз довольно трудно врать, они здесь очень высокие люди, могут меня перепроверить... А что касается Гаузнера... Ты слышала три хлопка?

– Какие?

– Когда ты стояла на балконе?

– Да. Я подумала, что вы обмываете сделку... Гаузнер очень любит обмывать договор...

Обязательно открывает бутылку шампанского...

– Больше не откроет.

– Откроет.

– Нет, – Роумэн покачал головой, – больше не откроет. Это было не шампанское, человек. Это были выстрелы из пистолета с бесшумной насадкой, из которого Гаузнера пристрелили... Так что живи спокойно.

– Хорошая новость... Жаль, что этого не сделала я... Но ведь репетировал со мной другой человек.

– Пепе?

– Нет.

– Кемп?

– Нет, другой. Я не встречала его раньше.

– По фото узнаешь?

– Конечно. Но ты дослушай меня. Ладно?

– Конечно, – ответил он, чувствуя, как сердце снова заколотилось, словно заячий хвост, и колышаще зашумело в висках.

– Так вот, он репетировал со мною нашу встречу... Каждый мой жест и слово... Торговал он при этом твоей жизнью... Он не поверил, что ты просто хороший партнер в постели... Они мне рассказали, что тебя пытали и ты перестал быть мужчиной... Я ответила, что мне как женщине лучше знать, мужчина ты или нет... Но это все пустое, милый... Я подписала обязательство работать против тебя.

– Я предполагал это.

– А почему не спросил?

– Потому что я знал, что ты непременно расскажешь мне об этом.

– Я сама не знала, расскажу ли я тебе. Вот. Ну и рассказала.

– Спасибо, человек. Мне стало сейчас так легко и счастливо на душе, так спокойно на сердце...

– И от этого оно у тебя так молотит? И поэтому ты стал белым, да?

– Сейчас это пройдет... Минут через пять... Я побелел, когда понял, что ты хочешь мне сказать то, о чем очень трудно говорить, прямо-таки невозможно... Но и мне придется сделать это в Вашингтоне... Я тоже подписал обязательство работать на них. Когда понял, что они действительно убьют тебя... У них ведь не было иного выхода...

– Значит, я не должна была тебе ничего говорить.

– Почему?

– Потому что ты будешь обязан сказать в Вашингтоне и про меня. И тогда я перестану быть твоей... женой... Если, конечно, ты продолжаешь еще хотеть этого... Я стану перевербованным агентом... Ты ведь не вправе, сказав им про себя, утаить обо мне?

...В девять утра Роумэн отправил в Вашингтон шифротелеграмму Макайру с просьбой разрешить ему текущий отпуск в Штатах, чтобы жениться на родине. «Если люди Гаузнера действительно читают наш код, то пусть прочтут и это сообщение. Они не могут не проявить себя, если так. Очень хорошо. Рядом с Кристой сидит мой помощник Джонсон, надежен, как булыжник. А я теперь готов к встрече. Они проявят себя в течение ближайших двух дней».

Однако ответ от Макайра пришел через пять часов: «Поздравляю от всего сердца, можете считать себя в отпуске с сегодняшнего дня, сердечно ваш».

Дома Джонсон сообщил, что звонков не было, вообще ничего подозрительного; команда, наблюдавшая за улицей, тоже не обратила внимания ни на одну машину или пешехода; все как всегда, только один раз проехал полковник Эронимо, но ведь он наш друг.

– Он наш друг, – повторил в задумчивости Роумэн. – Мне к нему звонить не с руки, сборы и все такое прочее, – он замолчал, включил радиоприемник, нашел музыку и продолжил: – Возьмите какую-нибудь ерунду – продлить визу больной американской старухе или что-нибудь в этом роде – и поезжайте на Пуэрто-дель-Соль... Сделав, что нужно, загляните к Эронимо, поманите его пальцем в коридор и там спросите: «Кто отправил вас вчера... нет, теперь уже позавчера из города?» Объясните, что ответ должен быть честным... Нет, так нельзя говорить испанцу – пусть даже и полицейскому, взовьется от обиды, потеряем... Скажите, что ответ должен быть исчерпывающим, потому что это позволит Роумэну, только это – и ничто другое, продолжать поддерживать с ним дружеские отношения – со всеми вытекающими отсюда последствиями. О результате разговора скажете мне в аэропорту, перед нашим вылетом. И если он ответит исчерпывающе, проведете работу по тому человеку или, возможно, людям, которые отправили его из Мадрида, когда я вернулся из Мюнхена. О'кей?

– О'ка, – ответил Джонсон, техасец, он сэкономил время даже на гласных, сокращая привычный «ол коррект», то есть «О'кей», до типично техасского, стремительно-глотающего «о'ка»; «пусть что угодно говорит, только бы сделал то, что я ему поручил»; на аэродроме Джонсон сказал, что приказ поступил от бессменного министра правительства Бласа Переса Гонсалеса; «вот куда тянется цепь Верена; ай да молодцы, лихо работают!».

## Мюллер. (Аргентина, март сорок шестого)

Он оглядел собравшихся, улыбнулся им своей неожиданной, доброй улыбкой, чуть шмыгнув носом и сказал:

– Ну, вот мы, наконец, и собрались все вместе, дорогие мои друзья. И я счастлив этому, неизменно счастлив, – только старый баварский крестьянин так радуется первым весенним ручейкам в горах, предвестникам плодородия и праздника будущего урожая. Поэтому я открываю наше совещание, испытывая уверенность в том, что пройдет оно конструктивно и по-деловому. Я дам общий обзор положения в мире, каким он видится мне, моим друзьям и нашим старшим товарищам, и остановлюсь на некоторых аспектах ситуации в Аргентине. А потом свои соображения выскажете вы. Есть возражения? Возражений нет. Прекрасно. Итак, по первому параграфу. Думаю, всем ясно, что мир вступил в эру глобального противостояния Кремля и Белого дома. С той поры, как Британская империя – благодаря лейбористам – станет Содружеством наций, Лондон как объект мировой политики будет играть подчиненную роль, европейская эпоха истории человечества на какое-то время прекратила существование, и теперь на арену всемирной схватки выходят новые силы – Китай в первую очередь, затем Латинская Америка, страны Ближнего и Среднего Востока, то есть нефть как кровь войны.

Сталинский ставленник Мао Цзэдун является конечно же личностью вполне устремленной, хотя и не лишенной какой-то парадоксальности. Победа над Японией, крах Квантуна – все это разрушило миф о величии острова, на смену этому мифу пришел призыв к борьбе за окончательное освобождение от «своих угнетателей». Несмотря на помощь, которую Белый дом оказывает генералиссимусу Чан Кайши, я не думаю, что он удержится, ибо у него нет национальной концепции, он хочет сохранить статус-кво, а это на данном этапе невозможно.

В какой мере Москве выгодна победа Мао Цзэдуна? С точки зрения пропагандистской – выгодна по всем позициям. С точки зрения экономической – не думаю, поскольку Кремлю придется помогать, – Мюллер смешливо дернул носом, – товарищам по классу, иначе они поступить не смогут, но это будет означать удар по русским, это затормозит все их восстановительные работы, а им надо восстановить территорию большую, чем Германия и Франция, вместе взятые.

Какой вывод? Об этом – в конце, суммируя общий итог.

Латинская Америка – мы это видим, как никто другой, потому что смотрим глазами новых людей, кроме, конечно, тех, – Мюллер улыбнулся Людвигу Фрейде, сидевшему возле камина, – кто прожил здесь большую часть жизни, – являет собой кипящий котел с крепко закупоренной крышкой. Однако, как ее ни закручивай, результат будет один – пар найдет выход; впрочем, пар можно выпустить, но можно и довести ситуацию до взрыва. Вопрос, на который мы должны дать ответ, очевиден: что выгодно нам, нашему братству? Взрыв? Или выпускание пара?

Во-первых, престиж, завоеванный русскими во время минувшего сражения, не мог не отразиться на здешних коммунистах. Хотели мы того или нет, хотя, – Мюллер усмехнулся, – мы этого, конечно, не хотели, русские подтвердили правоту своей идеи делом. Все левые силы здесь потребовали прав, и власть не могла им их не дать; мы – далеко, британцы, традиционно сильные в здешних банках и на железных дорогах, были, как и янки, связаны по рукам и ногам союзом с Кремлем: не могли же они помогать врагу?!

Во-вторых, попытки Перона и боливийцев обуздать левых были преподаны американской прессой как путчи, организованные нашей секретной службой. Увы, должен вас огорчить: хотя наше влияние на лидеров путчей было весьма значимым, они не коллаборировали с нами в той степени, в какой нам бы хотелось. Таким образом, вместо поддержки Перона и подоб-

ных ему Вашингтон оттолкнул их ногой. Трумэн сейчас пытается наладить добрые отношения; поглядим; думаю, без нашей помощи ему не обойтись.

В-третьих, если левые не будут обузданы на континенте раз и навсегда, ситуацию трудно предсказать, а мы с вами лишимся плацдарма, столь необходимого для процесса нашего восстановления.

Эрго: на нынешнем этапе наши интересы и понятный страх янки перед возможной потерей своих позиций в Латинской Америке практически смыкаются.

Эта ситуация не есть некий парадокс истории, это реализация того, что предсказывал фюрер, особенно в последние месяцы битвы.

Теперь по поводу положения в Греции и на Ближнем Востоке.

Гражданская война в Афинах делает невозможным диалог между Москвой и Западом. И это прекрасно. Южнее Греции тоже пахнет порохом. Крах британского колониализма, явившийся прямым следствием их победы, – а вот это как раз парадоксальная ситуация, не правда ли: реальное поражение вместо мифической победы?! – породил новое качество не только арабского народа, еврейского населения Палестины, но и Африки в целом. Там грядут события, трудно предсказуемые, однако ясно одно: Англии и Соединенным Штатам рискованно открыто поддерживать евреев в их сражении за создание своего государства. Единственной силой, которая честно заявляет о возможности создания такого рода общности, является Кремль. Сталина можно понять: в отличие от Лондона у него есть своя нефть в Баку. Англичане поддерживают и арабов, и евреев, стремясь при этом сохранять видимый нейтралитет. Не позволим. Белый дом пока еще не занял определенной позиции. Подождем. Ну а мы – благодаря искусству нашего товарища Йозефа Менгеле – имеем возможность знать всю правду и про арабов, и про евреев. Наши люди работают в обоих направлениях. Будем уповать на будущее.

Африка. В Намибии и Уганде мы имеем свои опорные пункты – как-никак были нашими колониями. Конечно, роль наших людей в Намибии пока что мизерна, но мы должны научиться высокому искусству ожидания. В том, что мы еще скажем свое слово, и особенно в Намибии, – а это подступы к золоту и алмазам – не приходится сомневаться.

Европа. Этот регион в настоящее время не может быть включен в сферу нашего геополитического интереса. Продолжаем составлять досье, вести картотеки на лиц, вызывающих наш интерес, – в основном перспективный, **пугаем** западных союзников самим фактом своего незримого присутствия – и все. Такова наша доктрина на ближайший год. Год – я не оговорился.

Мюллер отложил конспект, в который он заглянул всего лишь дважды, и снял свои очки в тоненькой золоченой оправе – ни дать ни взять учитель пения из сельской школы.

– Я изложил основную препозицию. Каждый вправе внести коррективы, не согласиться с чем-то из сказанного; увы, мы часто грешили тем, что не слушали никого, кроме фюрера, а это есть неуважение к нации, у нас много умных людей. И если раньше было опасно иметь собственную точку зрения, то отныне – смею вас заверить со всей определенностью – мы будем ценить тех, кто предлагает свое, не думая, понравится это руководству или нет. Мы, – Мюллер чуть откинул голову, словно собираясь запеть, – сами решим, что в ваших предложениях интересно, а что – мизерно и не заслуживает поддержки. Карман наших общих идей и желаний должен быть полным, нельзя – и это доказала история – упираться лбом лишь в одну возможность; их – много; задача состоит в том, чтобы выбирать оптимальную на данном конкретном этапе.

Позволю себе проанализировать кое-какие частности, ибо они могут превратиться в основоположения для дальнейшей практической работы. Начну с Аргентины. Вы все знаете, что пресса Штатов клеймила Перона как агента рейха. К счастью, он не был нашим агентом – в том смысле, какой янки вкладывают в это понятие: они хорошо работали по чикагской мафии, но опыта сотрудничества с перспективными политиками у них еще нет. Да, действительно, и Алигьери, прикомандированный к Перону спецслужбой дуче, и наш полковник абвера Кин-

глер работали с ним, стараясь привить ему вкус к политике, объясняли структуру работы нелегальной организации оппозиции, – опыт Кальтенбруннера, когда он сражался за Вену, весьма богат в этом смысле, – и они преуспели; Перон вернулся в Буэнос-Айрес человеком, осознавшим собственную силу. Мы смогли пробудить в нем лидера, это крайне важно. Людвиг Фрейде, – Мюллер кивнул ему подбадривающе, – в эпоху кризиса был на высоте, он находился все время рядом с Пероном. Заметьте себе: как только Белый дом понял, что Перон закусил удила, как только умные люди в Штатах до конца осознали, что, подвергая унижению популярного лидера, они могут потерять Аргентину, так сразу же государственного секретаря Хэлла понудили уйти в отставку – по состоянию здоровья. Действительно, рыцарство Хэлла, который клеймил Перона в пронацизме, било по самым умным людям на севере – по Уолл-стриту, по его интересам на юге континента; именно поэтому, объявив об уходе Кордэлла Хэлла, об отводе флота от уругвайских берегов и признав режим генерала Фарелла и Перона, Уолл-стрит начал тур вальса с Розовым домом<sup>15</sup>, пригласил Аргентину на Чатапультекскую конференцию и гарантировал ей членство в ООН, несмотря на пронацизм Перона... А он, кстати, был не меньше, чем у Франко. Того, однако, в ООН не пустили; Перон же – член этой организации.

Я располагаю достоверной информацией, что посол Англии в Аргентине сэра Кэлли по личному указанию Черчилля посещал Перона и генерала Фарелла, чтобы сказать им: «Мы сами заложники “младшего брата”, положение наше сложное, но мы понимаем вас и будем оказывать вам посильную поддержку».

Пассаж ясен: британцы боятся потерять здесь свои позиции. Они не зря этого боятся, они их потеряют.

Полагаю, что встреча Перона с сэром Кэлли привила ему вкус к играм: только этим я объясняю установление отношений Перона с Кремлем; ему сейчас необходима третья сила. Лондону угодно пребывание здесь русских, янки – нет. Возникает вопрос: а что выгодно нам? Кого поддержать? А ведь мы – несмотря на военное поражение – достаточно сильны экономически и организационно, чтобы сказать свое слово, и оно будет весомым...

Стратегическая линия, определенная нами по отношению к Перону в начале сорок пятого года, себя оправдала; он, с подачи Людвиг Фрейде, сделал то, что вызвало ярость в Вашингтоне, да и в Москве: он разрешил массовую эмиграцию немецких умов и рук в эту страну. Позиция Перона: «Мир устал от войн и жестокостей, мы сделаем свой первый взнос в гуманное отношение к людям, на чьей бы стороне они ни были во время битвы». Эта позиция так великолепна, что не может быть расстреляна с американских канонерок, – тот же Ватикан не позволит. Да и потом – с пропагандистской точки зрения – дурно расстреливать из орудий само понятие «гуманизм».

Популярность Перона поставила его над толпой, он стал живым богом, он дал стране реальные блага и этим победил левых.

Но в Колумбии, Боливии, Перу, Венесуэле и Коста-Рике очевиден взлет левой тенденции. Там нет личностей нашей ориентации, и – как результат – во всех этих странах открылись русские посольства.

Таким образом, я подобрался к главной позиции.

Если вы помните, я задал вопрос, в определенной мере риторический: кого нам выгодно поддержать? Думаю, нам выгодно поддержать не британцев, которые ближе нам, но янки, потому что только они могут здесь, на этом континенте, на деле, а не на словах, увидеть нашу умелость в борьбе против Кремля.

Возможна ли такого рода борьба без хорошо отлаженных контактов с секретными службами янки? Возможна. Никто так не знает большевиков, как мы. Но выгодно ли нам тайное рыцарство? Думаю – нет. Всякий контакт – суть начало диалога. Диалог – путь к взаимному

<sup>15</sup> Так называется дворец президента Аргентины.

выяснению позиций. Но диалог должен состояться именно здесь. Почему? Потому что тут мы докажем нашу нужность! А не в камерах нюрнбергской тюрьмы! Равные с равными, только так!

Поэтому, заключая это короткое выступление, я хочу задать вам, прибывшим сюда со всех точек континента, только один вопрос: сможем ли мы подготовить крупномасштабные операции, следствием которых будет безусловный разрыв дипломатических отношений между всеми странами юга Америки с Россией? Всеми, но не Аргентиной, ибо присутствие русских здесь выгодно не столько даже Перону, сколько великогерманской идее – я имею в виду Риктера и его работу по атомной бомбе для нас с вами, а не для этой страны пеонов и кабальерос... Пока здесь русские, прямой санкции янки не будет, не решатся, это может привести – особенно если мы подтолкнем Перона обратиться к Советам за помощью – к открытой конфронтации между Москвой и Вашингтоном. Ни та, ни другая страна к этому пока еще не готовы.

Во всех странах этого континента разрыв отношений с Кремлем поможет здоровым силам армии покончить с левой тенденцией. Это также гарантирует нужную информацию по поводу всего, что будет происходить на юге Америки, ибо вместе с русскими дипломатами отсюда вышвырнут и русских журналистов.

(По тому, как собравшиеся заплодировали, Мюллер понял, что не зря провел последние полтора года здесь, в уединении; главное – схема, во всем и всегда важна схема, а уж как ее сделать живым организмом – его забота, его, а не тех, кто здесь собрался.

Он знал, кто будет его контактом на севере. Он не сказал об этом, потому что имя слишком широко известно в мире – полковник Бэн, создатель ИТТ.)

Первым после Мюллера выступил Людвиг Фрейде.

– Я приветствую концепцию дона Рикардо. В ней присутствуют твердость и вера. А это ли не основа успеха в любом начинании? Я не вправе выдвигать какие-либо идеи, связанные с другими регионами мира, потому что фюрер и партия национал-социалистов поручили мне работу именно в этом районе. Поэтому я сосредоточусь на проблемах, которые перед нами ставит жизнь в Аргентине.

Я не буду говорить, сколь трагичным оказался для нас, национал-социалистов, сорок второй год, когда в руки левых, проникших в министерство внутренних дел Аргентины, попали все наши архивы. Был раскрыт код, захвачены списки наших людей, а их было немногим менее пятидесяти тысяч, потому что практически в каждом городе мы имели нашего немца и аргентинского связника. Но мы смогли ударить по врагам – и пришли военные. Мы тогда не рискнули сразу же организационно восстановить всю цепь; мы закончили эту работу после победы Перона, но был уже конец прошлого года, мы только сейчас стали на ноги, отладив связь с нашими друзьями по совместной борьбе. Нам приходится действовать в обстановке строжайшей конспирации, потому что янки развивают свою активность, и сделать им подарок, засветив нашу структуру, – непростительно.

Я бы не разделял оптимизма дона Рикардо по поводу русского присутствия здесь как некой антисилы, которую Перон сможет использовать в наших интересах. Русские есть русские, фюрер назвал их, наравне с евреями, нашим главным врагом, и мы не вправе ревизовать указание Адольфа Гитлера, хотя, не спорю, отдельные вопросы тактики нашей борьбы поддаются рабочим коррективам, увязанным с изменившейся ситуацией. Мы установили свой контроль над прибывшим русским дипломатом, помимо того, который осуществляет спецслужба Перона. Наши пункты слежения находятся рядом с опорными базами аргентинцев: это улица Коперника, прямо напротив «Петит отель», где поселился русский представитель Жуков и его помощник Чимбрадзе, и улица Генерала Жели-и-Обе-са; все встречи контролируются, лица, входящие в контакт с русскими, вносятся в картотеку; хорошо был отработан слух: каждый, кто решит посетить «Петит отель» без санкции на то властей, может быть привлечен к дознанию. Машина русских, голубой «паккард», номер СД-264, как и его водитель Луис Гонсалес, взята под непрерывное наблюдение. Мы отдаем себе отчет в том, что, когда сюда прибудет русская

колония, она – хоть и незначительная по численности – не будет сторониться попыток, предпринимаемых рядом янки, выявить наших товарищей по борьбе, нелегально перебравшихся сюда после окончания битвы в Европе. Осторожность и еще раз осторожность. В случае необходимости – резкий ответный удар, но главная стратегия сегодняшнего дня – выжидание.

Поскольку мы смогли в кратчайший срок наладить атомный проект, поскольку в Кордове работают наши специалисты, заканчивая для Перона создание самого скоростного в мире истребителя, поскольку мы – в целом – восстановили ядро партии здесь, в Аргентине, нам предстоит еще год ожидания, чтобы проложить новые пути на континенте, в первую очередь в Парагвай, Боливию, Чили и Перу, прежде чем мы сможем предложить серьезный, а не авантюрный план той комбинации, о которой говорил дон Рикардо.

...Следующим поднялся Бернардо Майер. Он не сразу начал говорить; помял лицо маленькой ладонью («Маникюр, сукин сын, делает, – сразу же отметил Мюллер, – и кольцо носит, хоть заранее снял его, потому что знает, как я не люблю показные штучки, но след-то остался, что ж ты эдак-то, малышок?!») потом пожал, плечами и, словно бы удивляясь чему-то, ему одному видному, заметил:

– Мне труднее других как выступить перед вами, так и приехать сюда. Все же я единственный, кто по-настоящему фигурировал в документах комиссии по антиаргентинской деятельности. Но я приехал. Я приехал потому, что в душе наболело. А наболело оттого, что мы чересчур последовательно и бездумно проводили линию доктора Фрейде. Мы слишком дисциплинированно выжидали и осторожничали. А надо было еще более активно действовать. Мы выпустили ситуацию из-под контроля в начале сорок пятого. История нам этого не простит.

Мюллер мягко улыбнулся:

– Не клеветайте на себя. Ситуацию выпустили из-под контроля не вы, а изменники-генералы на полях сражений. Если бы они удержали армию, вы бы диктовали Розовому дому наши условия. И вы, и доктор Фрейде, и партайгеноссе Зандштедте честно выполняли свой долг перед рейхом. Простите, что перебил, продолжайте, пожалуйста.

– Вы просили быть откровенным, дон Рикардо... Я стараюсь, но это вовсе не просто, как никак мы все привыкли глазеть наверх – как там? – а уж после этого решались говорить сами...

– Не забываетесь, Майер! – крикнул Фрейде. – Отдавайте отчет своим словам!

– Я отдаю отчет своим словам. Если вы погрязли в коммерции и нашу общую с Пероном победу обернули на самообогащение, то я как был идеалистом, верным движению, так им и остался. Вы живете на своем острове в окружении олигархов и паршивых еврейских буржуев, а я ютюсь в фанерном бараке среди полуголодных рабочих. И мне очень не нравится, когда вы говорите здесь, как надо жить. Дон Рикардо внес дельное предложение. Я кожей чувю, что сейчас самое время подготовить не одну, а пять-шесть комбинаций, чтобы продемонстрировать неумирающую силу национал-социализма. Мы ничем не рискуем, кроме возможной победы. А вы рискуете вашими счетами в банках и дворцами на островах! Вам есть чем рисковать! Придет время, когда наш партийный суд разберется, как вы разбогатели на нашей работе!

Фрейде поднялся:

– Дон Рикардо, это возму...

– Сядьте, – сохраняя улыбку, но, тем не менее, холодно, заметил Мюллер. – Умейте слушать, партайгеноссе Фрейде. Вы ответите после, здесь собрались друзья, мы говорим о том, что наболело, вы получите право ответить по всем пунктам своему оппоненту.

– Спасибо, дон Рикардо, – прочувствованно сказал Майер. – Так я вот про что... Моя линия связи с Боливией и Парагваем работает надежно, как и раньше. Я держу опорный пункт связи в Мадриде и Милане, я не открыл их никому, они функционируют. У меня есть надежные люди среди русской колонии в Асунсьоне, они сотрудничали с вами, – он выразительно посмотрел на Мюллера, – не с партией...

– Странная позиция, – Мюллер пожал плечами. – Зачем отделять партийное ведомство рейхсляйтера Бормана от моего? Мы все служили и служим одному делу – идее германского национального возрождения...

– Верно, – согласился Майер, – только я это к тому, что вы своих не берегли, вот им повсюду головы-то и поотрывали, а мы верных и нужных людей щадили... Вам каждый день сводку подавай, а мы впрок думали... Поэтому я и сохранил в Парагвае русский фашистский центр, там люди готовы на все... Вот я и намерен предложить использовать их в той комбинации, которая позволит нам организовать разрыв дипломатических отношений между здешними режимами и Россией. Я готов предложить план комбинации по Боливии и Колумбии в течение месяца... Пусть ждут трусы, которые не верят в наше дело. Я – верю. Поэтому идею дона Рикардо поддерживаю целиком и полностью: за работу!

– Как фамилия руководителя русского фашистского союза в Асунсьоне? – легко поинтересовался Мюллер.

– Артахов, – после колебания ответил Майер. – Очень интересный человек.

– Чем он там занимается? Я имею в виду легальное занятие?

– Могу я ответить вам с глазу на глаз, дон Рикардо?

Мюллер изумился:

– У вас есть основания не доверять кому-либо из присутствующих?! Назовите этого человека, Майер! Это ваш долг!

– Нет, я никого не подозреваю... Просто нельзя называть имя твоего доверенного человека открыто... Меня же инструктировали... Только твой руководитель, ты и он, и больше никто.

– Верно. Так и будет впредь. Но здесь собрался костяк будущих руководителей движения, Майер. Вы – в том числе. Люди, собранные здесь, прошли надлежащую проверку. И занимался этим я. Десять месяцев, Майер, десять месяцев...

– Он редактирует журнал «Оккультизм», его выписывают в Америке, Британии, Канаде, – хорошая форма связи с теми из наших, кто там уцелел, вот почему я так его берегу...

– Спасибо, Майер. Вы имели право не ответить мне, и я бы не посмел принуждать вас. Спасибо. Кто следующий? Пожалуйста. Слово Карлу Губнеру.

– Я поддерживаю ваше предложение, группен... дон Рикардо. Мы имеем все возможности в самое ближайшее время провести несколько комбинаций, чтобы на этой почве начать диалог с янки. Возникает лишь один вопрос: степень риска? Конечно, чем более рискованна операция, то есть чем более она крупномасштабна, тем возможнее выгода нашему движению. Например, если бы мы смогли втянуть русских в **интерес** по отношению к авиационному центру Перона в Кордове (а они не могут не быть заинтересованы в работах штабартенфюрера СС профессора Танка), то разрыв отношений между Аргентиной и Москвой стал бы очевидным фактом, но в условиях задачи, поставленной доном Рикардо, присутствие русских здесь признано допустимым в интересах конечного успеха всей комбинации. Я не берусь оспаривать концепцию дона Рикардо, его авторитет не позволяет мне этого. Следующее предложение: поскольку мне приходилось постоянно курировать работу нескольких групп в Колумбии, у меня остались надежные связи среди разумных кругов страны. Они, как дон Рикардо, с тревогой отмечают рост коммунистических, да и вообще левых тенденций. Определился лидер – профсоюзный деятель Гаэтан. Если будут назначены выборы, он, и только он, получит власть. Это – смерть для янки, он выступает против их экспансии, как он выражается, с фактами в руках. Каковы предложения? У меня есть надежные контакты, через третьих лиц, с группой колумбийских анархистов. В нужное время, в надлежащий момент мы санкционируем нейтрализацию Гаэтана, организовав перед этим ряд контактов русских с нашими подконтрольными левыми группами. Крайне левые щелкают просто левых – с санкции Москвы. Разве это не повод для разрыва отношений с Кремлем и прихода к власти военных, получивших воспита-

ние в классах, руководимых немецкими офицерами?! В этом же наша главная сила! Большинство военных в Латинской Америке прошли прусскую военную школу, армию Чили и Боливии создали мы – от начала и до конца...

– Не мы, – улыбнулся Мюллер. – А предатель Эрнст Рэм.

– Когда он создавал армию Боливии и Парагвая, – возразил Карл Губнер, – он не был изменником, дон Рикардо! Он тогда был братом фюрера! Неужели его измена в тридцать четвертом может зачеркнуть все то, что он сделал до этого?! Давайте научимся уважать историю нашего движения!

– Давайте, – согласился Мюллер. – Тем более что он никогда и никому не изменял. Доводите свою мысль до конца, пожалуйста. Обычная – после каждой национальной революции – борьба лидеров. Разве Дантон или Робеспьер изменяли идеалам своей революции? Сейчас в мире начнется процесс тщательного изучения нашего движения, и изучать его будут не по учебникам истории, написанным в министерстве пропаганды доктора Геббельса, а на основании документов. И мы должны быть готовы говорить молодому поколению правду. Дозированную, взвешенную, но – правду. Если делать ставку на одних лишь фанатиков, мы не сможем противостоять противнику, который будет оперировать не слухами, но архивными документами и показаниями очевидцев. Мракобесие не в силах одержать окончательную победу над наукой – только временную, только сиюминутную и на очень короткий период исторического времени. Что для мира столетие? Ерунда, малость, крошечная величина, а мы обязаны думать о тысячелетиях... Предложение, связанное с колумбийским узлом, мне по душе, очень интересно, будем думать, спасибо. Следующий?

Следующим выступил доктор Зобель. Поигрывая толстыми, на американский манер, подтяжками, он говорил быстро, будто горох по столу сыпал:

– Дон Рикардо, у меня создается впечатление, что мы тщимся открыть открытые уже Америки. Меня удивляет, что собравшиеся здесь коллеги тщательно мнут себя под соображения, высказанные вами. Споры нет, те параграфы, которые вы изложили по поводу ситуации в мире, крайне точны, собраны, никакой демагогии и болтовни, все по делу, но когда вы коснулись проблем Латинской Америки, то здесь стала очевидной наша всегдашняя болезнь: те или тот, кто здесь работает с вами, не решились выставить контрдоводы – издержки рабского чиновничества. А это – ущерб общему делу, дон Рикардо! Вы говорите: «Целесообразна комбинация, которая даст нам вес для диалога с янки». И приглашаете нас к совместному раздумью и планированию. Но почему-то никто не обратил ваше внимание, что президент Эквадора сеньор Веласко Ибарра, впусивший в свой кабинет коммунистов, – он не мог этого не сделать – получил власть на гребне левой волны. Когда же коммунисты не позволили ему передать янки под их военные базы Галапагосские острова, он пять месяцев назад – без нашей комбинации – самостоятельно или с подачи «малоопытных» янки объявил о наличии в Эквадоре коммунистического заговора, коммунистов-министров отправил прямехонько в тюрьму, отменил конституцию и навел в своем доме порядок. Кто вам доложил подробности его комбинации? Кто просчитал механизм его дела? Да никто! А почему? Потому что смотрят вам в рот! И не хотят видеть живые факты! А подводят в конце концов не только вас, но движение!

– Но ведь в Чили, совсем рядом с нами, – Мюллер кивнул на окно, – за Андами, в правительстве по-прежнему входят три коммунистических министра, Зобель. Вы правы, мы еще недостаточно изучили эквадорский феномен, но мы его знаем и думаем над ним. Именно топорность, с которой он был осуществлен, та топорность, которая делает недолговечным режим Ибарры, и надоумила нас придумать рецепты комбинаций, приложимые к каждой стране здешнего континента в отдельности, учитывая особенности нации и своеобразие ее лидеров. Тем не менее спасибо вам за то, что вы заостряете мое внимание на возможном чиновничестве моих ближайших сотрудников, работающих со мною постоянно, я учту ваше замечание.

– Дон Рикардо, вы призывали говорить то, что мы думаем...  
– По-моему, я никак не мешал вам говорить то, что вы думаете, – заметил Мюллер. – Наоборот, меня радует ваша открытость. Кто следующий?

...Ночью, после славного ужина, во время которого Мюллер размяк, произнес три спича вместо одного, отрепетированного заранее («Пить нельзя категорически – становлюсь сентиментальным, тянет в слезы, явный признак склероза»), он долго не мог заснуть, ворочался в своем гамаке, потом позвал индианочку (в районе Игуасу очень дешево, белые охотники их продают за гроши), только это позволило ему ненадолго забыться. Проснулся со странным, тяжелым ощущением тревоги; оно не было похоже на то, что он испытывал здесь после бегства из рейха; лишь по прошествии месяцев он признался себе, что жил в атмосфере постоянного животного ужаса. Спасением была, как это ни странно, речь Черчилля в Фултоне: все возвращается на круги своя, но в новом круге. «Слава богу, нет фюрера с его садизмом, который шокировал цивилизованный мир, с виселицами в Минске и Загребе, с гетто в Варшаве, с идиотством Гимmlера, культивировавшего новую породу арийцев, словно скороспелые сорта картофеля. Однако провозглашенная фюрером идея борьбы с большевистским Востоком оказалась угодной новому кругу – в большей даже мере, чем раньше. Дело понятное: русский медведь проснулся, наработал жесткие приемы борьбы, сделался колоссом – конкурент, страшно, вот заокеанские живчики и засуетились».

Нет, тревога, которую он ощутил сейчас, была прежней, той, которую он начал забывать уже, – постоянной, вьедливой, трудно поддающейся логическому анализу. «Ты кому-то не веришь? – спросил он себя. – Кому? Какие к этому есть основания? Если ты докажешь себе, что прав, что кто-то в чем-то опасен тебе, то дело легко поправить: участники совещания утром полетят в Кордову на твоём самолете; ничего страшного, купишь новый, деньги есть. Но самое обидное, если ты уберешь нужных тебе людей, – мания подозрительности невозможна у политического лидера. У политического лидера, – повторил он. – Вот почему ты испытал ту отвратительную, изматывающую душу тревогу, которая ломала тебя и унижала, когда ты жил под Гимmlером, – понял он. – Ты сейчас вновь поставил себя на роль исполнителя, ты не смог заявить себя если и не фюрером, то хотя бы вторым после него человеком; порой вторым выгоднее быть, чем первым. Ты говорил с резервом, ты боялся раскрыть карты, а эти люди пришли сюда получить приказ, они не умеют обсуждать и вырабатывать линию, они, как и ты, раздавлены фюрером и его стилем. Нет, – возразил он себе, – ты ошибаешься. Они, может быть, и раздавлены им, но более всех раздавлен ты сам. Вместо того, чтобы бесстрашно отдавать приказы: “Ты, Фрейде, продолжаешь готовить операцию с подводом Штирлица к Риктеру, к переправке его на остров Уэмуль в Барилоче”<sup>16</sup>; “Ты, Пратт, организовываешь канал, по которому Штирлиц должен пойти на связь с русским посольством в Буэнос-Айресе, а он обязательно пойдет на связь, или я ничего не понимаю в людях”; “Ты, Губнер, организуешь мне встречу с Пероном, и я, лично я, отдаю ему Штирлица, делаясь спасителем его идеи”; “Ты, Зобель, получишь информацию обо всем этом для Бэна”; вместо того, чтобы стать ключевой фигурой предприятия, одним из самых компетентных стратегов антирусской борьбы на континенте – как на севере, так и на юге, вместо того, чтобы приказать Майеру завтра же отправиться в Боготу и привезти мне подробный план комбинации по Гаэтану, я расточал елей: я не готов еще к той роли, о которой мечтал. А не готов я потому, что раздавлен Борманом и жду, когда он придет сюда, сядет в кресло возле камина и скажет: “Ну, докладывайте!” И я стану докладывать, вот в чем весь ужас! Половая тряпка, – сказал он себе, – ты несчастная половая тряпка из грубой мешковины, которая легко впитывает, а еще легче выжимается... Ну хорошо, хорошо, легче легкого топтать себя ногами, тем более что ты сам определил себя половой тряпкой. А выход?

---

<sup>16</sup> Барилоче – курортный город на границе с Чили, где разрабатывался проект Риктера – Перона.

Каков выход? Да и есть ли он? Может быть, я раздавлен самой структурой национал-социализма как личность и ничто не поможет мне? Воистину, богу – богово, а кесарю – кесарево, только надо это выражение примерять не на тех, кого ты собрал, а на самого себя. Хорошо, а что, если сделать так, чтобы Борман исчез – раз и навсегда? Тогда ты, только ты, группенфюрер Мюллер, остаешься правопреемником идей национал-социализма. Да, но ведь Борман жив, – возразил он себе. – А кто об этом знает, кроме тебя? Да и потом – Борман ли это? Ведь в случае надобности ты всегда сможешь доказать, что это никакой не Борман, а обыкновенный двойник, и тебе поверят. Поверят? Да, поверят, если ты не будешь тряпкой, а заставишь себя раскрепоститься, ущипнешь себя; это не сон, а реальность; все происходящее – въяве; психа шлепнули, ты – свободен, богат, не стар еще, тебе досталась доктрина, которая сохранит свою надобность до тех пор, пока существует большевизм, живи! Живи же! Это так прекрасно, когда ты живешь, ощущая свое незримое таинственное могущество! Мне нужны мои люди, – сказал он себе, поднимаясь с гамака, – мне нужен Эйхман, Менгеле, Рауф, Швендт, Скорцени, мне нужна моя гвардия, а не эти провинциалы, вот что мне нужно, чтобы осознать себя фюрером, – по-настоящему».

Он достал с полки папку с черно-бело-красным символом национал-социализма и, пролистав несколько страниц, углубился в чтение документа; очки не надевал. «Это ведь игра, очки-то, лишние мгновения на то, чтобы продумать ответ, когда Борман или какой другой дьявол задают тебе вопрос, а ты знаешь, что этот вопрос задан неспроста, и тебе нужны секунды, чтобы просчитать в уме все то, что надлежит калькулировать, когда имеешь дело с оборотнями, иначе снесут голову, легко снесут, без сожаления, такова жизнь, ничего не попишешь...»

Он начал читать литые строки Гитлера, увидел сразу же его зеленые глаза, по-совиному беззащитные, услышал его австрийский, столь любезный ему, баварцу, голос, ощутил слезы на щеках и, в который раз уже, подивился себе самому: какая непоследовательность – плакать, вспоминая человека, который привел к краху?! «Нет, нет, рабство, в нас въелось рабство, как его извести поскорее?! А надо ли? – спросил он вдруг себя. – Зачем? Рабство позволяет в пять раз скорее делать то, что не под силу джентльменству, потому что самое понятие рабство вертикально и времени на дискуссии не оставляет: или ты поступаешь так, как я приказываю, или исчезаешь – третьего не дано!»

...Наутро за завтраком Мюллер оглядел несколько помятые после вчерашнего застолья лица единомышленников и, надев тонкие очки на кончик носа, сказал:

– Я был счастлив видеть вас здесь. Сердце мое преисполнено гордости за то, что наша общность выдержала все испытания. Они были нелегкими, ибо это были испытания на горечь поражения, а не на пьянящую радость побед. Перед тем как мы расстанемся, я бы хотел – поскольку вы все выразили согласие с теми основополагающими принципами, которые я изложил, – распределить обязанности в комбинациях, спланированных мной. Отчеты о работе, порученной мной каждому из вас, будут передаваться мне. И никому другому. Извольте в недельный срок представить исчерпывающие данные на все наши связи. Итак, Фрейде... Вам я поручаю следующее...

Через три дня генерал Гелен запер в сейф подробный отчет о совещании «у дона Рикардо», ибо Майер был завербован его организацией еще в конце сорок пятого. Работал истово, не за страх, а за совесть. Иначе не мог: его единственный сын – гауптштурмфюрер СС – жил в американской зоне оккупации по фальшивым документам. Вопрос о его вызове в Латинскую Америку мог решить только один человек – Гелен.

В отличие от Мюллера генерал Гелен разработал иной план, и ему, Гелену, было выгодно, чтобы Аргентина – получив данные о русском шпионе Штирлице – немедленно, раз и навсегда, расторгла дипломатические отношения с Москвой.

Гелен думал дальше, чем Мюллер, в данном конкретном вопросе. Он полагал, что незачем таскать все каштаны из огня для американцев. Какие-то – да, но самые вкусные надо сберечь для немцев. Чем труднее будет американцам в Аргентине, тем легче германская промышленность, восстав из пепла, войдет туда, чтобы стать монополистом богатейшего рынка. Естественно, присутствие русских помешает этому, поэтому надо сделать все, чтобы отношения между двумя странами были прерваны в зародыше.

## Штирлиц. (Латинская Америка, ноябрь сорок шестого)

В аэропорту Рио-де-Жанейро «Галеао» Штирлиц с тоской поглядел на Ригельта:

– Дружище, на вас надежда. И помогите мне с языком: я же не знаю толком ни английского, ни португальского...

«Дурашка, – сказал он себе, – ты думаешь, он станет говорить при тебе с кем-то из своих на английском? Он же профессионал; как-никак школа Скорцени, а это высокая школа...»

– Давайте сначала выпьем кофе, посмотримся, а потом я отправлюсь в разведку, – сказал Ригельт. – Я очень боялся, что у вас потребуют паспорт при выходе из самолета, говоря откровенно...

– А я схожу в сортир. У меня схватило брюхо, видно, на нервной почве... Слушайте, а в самолете, когда я спал, ко мне никто не подходил?

– Так я же заснул раньше вас! Что, не помните?

«Он ждет, что я стану ловить его, – подумал Штирлиц. – А я не буду тебя ловить, собака, потому что ты сейчас победитель, я подставлюсь тебе, я же прекрасно помню тебя, когда ты нес какую-то околесицу, а я чувствовал, что засыпаю, и не мог даже представить себе, что ты намешал мне гадость, вот что значит дохнуть воздуха надежды и расслабиться, урок на всю жизнь. А сколько мне отпущено? Откуда знать, что случится сегодня, если он вывезет меня в эту самую Игуасу?»

Штирлиц зашел в туалет, остановился возле зеркала, осмотрел свое изображение в потрескавшемся местами стекле и вдруг рассмеялся: за последний час два раза в сортире и оба раза по делу – первый раз писал в самолете письма, стиснут, будто в гробу; а сюда его привела память: из таинственных глубин ее всплыл рассказ эсэсовца Ойгена (или второго – Вилли?), как тот в какой-то латиноамериканской столице зашел в туалет, открыл окно и вылез на улицу – без всякого штампа пограничников в паспорте: «Там бардак; можно вытворять что душе угодно».

Штирлиц прошелся вдоль кабин: кто-то шуршал в первой, у входа; остальные были пусты. Ребристое, матовое стекло окна было полуоткрыто; он подошел к нему и распахнул створки, предварительно развязав галстук (мотивация дурноты, хочется свежего воздуха), выглянул и улыбнулся: во-первых, высокий первый этаж, а во-вторых, окно выходило на стоянку такси и вдоль машин прогуливались два автоматчика, провожая жадными глазами каждую хорошенькую девушку. «Побег из сортира! Такого боевика, по-моему, не было еще. Вот смех-то – прыжок на автоматчиков с полуспущенными брюками. Годится для Бестера Китона, он бы это сыграл блистательно, прекрасный комик».

Штирлиц вернулся в зал, разменял стофранковую купюру, купил почтовых марок, приклеил их на письма и, посмотрев, нет ли рядом Ригельта, опустил в почтовый ящик.

Он вернулся к стойке маленького бара, заказал два кофе и с тоской посмотрел вокруг себя: жизнь в аэропорту бьюще пульсировала, прилетевших можно было определить сразу же – расслабленно улыбались, двигались медленно, упиваясь счастьем ощущения под ногами земли, а не хляби небесной; нет ничего прекрасней привычного, хотя именно здесь, на земле, вон ту старуху в пелерине сегодняшней ночью может хватить инсульт, а того кабальера в черной шляпе – банкротство, выход из которого один: бегство или пуля в висок. Те, кто улетал, были, наоборот, стремительны в движениях; какая-то гигантская воронка, засасывает – билет куплен, выбор сделан, ничего другого не остается, как доверить свою жизнь пилоту и господу.

Ригельт пришел озабоченный, бросил на стол пачку газет:

– Посмотрите «Нотисиас».

– Я не понимаю португальского.

– Это – поймете, – он ткнул пальцем в маленькую заметку, набранную жирным петитом.

Штирлиц надел очки (зрение катастрофически ухудшалось), пробежал глазами текст; языки действительно очень близки; перепечатка материала из лондонской газеты о нацистском преступнике «Бользене», он же «Стиглис» («Испанцы бы перевели Эстиглиц, хотя может быть, так переводит только Клаудиа, она вкладывает в мое имя свою любовь»): скрылся из Испании, поскольку его выдачи требует вдова убитого им Вальтера Рубенау. Родственники второй его жертвы, сеньоры «Такмар Фрёдин» («Дагмар Фрайтаг, – машинально поправил Штирлиц, – нельзя так перевирать фамилии»), разыскиваются ныне не только полицией, но и лондонским журналистом Мигелем Сэмилем. («Наверняка Майкл, – сразу же подумал он, – даже Лермонтова испанцы переводят как “Мигеля”».)

«Что ж, кто-то включил счетчик. Я чувствую себя по-настоящему собранным, когда выхожу на финиш: прошлое отринуто, настоящее подчинено будущему, устремленность, нет ничего надежнее устремленности, когда ты, только ты можешь победить, но в равной мере и проиграть, – все зависит от тебя. Да, верно, – согласился он с собой, – но раньше все-таки я планировал комбинацию, и мои друзья – будь то Базилио и Пальма в Бургосе в тридцать седьмом, Зорге в сороковом, полковник Везич в Белграде в сорок первом, Кэт, Плейшнер, пастор Шлаг в марте сорок пятого – верили мне, и мы побеждали. Только один Плейшнер посмел забыть и поэтому погиб. В разведке память так же необходима, как и в литературе, сюжет одинаково напряжен, характеры ясны, акценты расставлены ненавязчиво, а главный смысл скорее угадывается, чем записывается открытым текстом. А с Эдит Пиаф я победил. Пастор считал ее кафешантанной певичкой, а я предрекал ей великое будущее и оказался прав; все-таки в людях церкви невероятно живуч догматизм; впрочем, иначе следует слагать с себя сан – не веря в глубине души догме и не подчиняя ей себя без остатка».

– Вы как ангел-спаситель, – сказал наконец Штирлиц, сняв очки. – Я удивлен. Откуда такие подробности у британского журналиста?

– Сволочи. Наглые островные сволочи, – ответил Ригельт. – Как я понимаю, именно в связи с этим обстоятельством вы столь скоропалительно покинули Мадрид?

– Я и не знал об этом, Викель, клянусь.

– Будет вам, Штирлиц!

– Браун.

– Нас никто не слышит.

– А если у вас в портфеле микрофон?

– Скажите еще, что я вытащил у вас паспорт, – усмехнулся Ригельт, не отводя взгляда от лица Штирлица.

– Между прочим, а почему бы и нет? Об этом я как-то и не подумал, – ответил он, поняв, что паспорт гражданина США, выданный Роумэном, этот подонок не сжег. «Им нужен этот паспорт, потому что, во-первых, он может быть уликой против Роумэна, если он действительно начал против них драку, во-вторых, это улика и против меня – нацист, скрывающийся от правосудия под американским картоном: кто дал, почему, когда, где? Если же Роумэн затеял крупномасштабную комбинацию и темнит против меня, этот паспорт нужен ему, именно ему и никому другому. Неужели Ригельт – его человек? Почему бы и нет? Слишком быстро выскочил из лагеря, так отпускают перевербованных; даже при том, что американцы прекрасные организаторы и бюрократизм им не грозит – дело сметет его с дороги, – даже они бы не успели за месяц составить необходимые картотеки на всех, кого посадили. О чем ты? – возразил себе Штирлиц, – ведь если бы Даллес подписал соглашение с Карлом Вольфом, тот бы вообще не сидел в лагере, там речь шла не о чем-нибудь, а о новом правительстве Германии, какой уж тут лагерь... Но зачем тогда Роумэну организовывать против меня публикацию в английской прессе? Как зачем?! Чтобы привязать к себе – раз и навсегда. Но ведь он сам дал мне материалы, которые ставят под сомнение это обвинение Мигеля... Смешно, “английский журналист дон Мигель”, Ригельт убежал сразу же, как мы вышли в зал, чтобы передать кому-то мой пас-

порт. Наверняка поэтому он так торопился. Но зачем Роумэн забрал у меня прежний, никарагуанский? Ведь и тот мне дал он. По логике, тот паспорт был липовым. Если бы я с ним легально пошел через границу, меня бы арестовали и выдали Пуэрто-дель-Соль, а там у него, судя по всему, надежные контакты. Хотя слишком уж униженно он добивался этого самого полковника Эронимо, так хозяин не говорит. Если б не мой разорванный живот, и ватные ноги, и боль в пояснице, я бы мог навалиться на Ригельта в самолете и отнять паспорт, хотя на это было бы смешно глядеть со стороны: дерутся два взрослых человека, да не где-нибудь, а в громадине ДС-4, который совершает трансатлантический полет. Постоянный страх скандала – вот что живет во мне! Желание быть в стороне, но так, чтобы при этом находиться в самой сердцевине событий, – вот моя постоянная позиция. Характер можно сломать, но изменить нельзя, это верно; из сорока шести прожитых лет – двадцать девять в разведке, привычка – вторая натура, точнее не скажешь».

– Что вы еще узнали, дружище? – спросил Штирлиц.

– Я узнал, что мой чемодан улетел в Буэнос-Айрес, вот что я узнал. Тю-тю! Это вам не Европа. А там два костюма, пальто и пара прекрасных малиновых полуботинок. Наша авиетка вылетит через два часа, по дороге три посадки, в Игуасу будем к вечеру... Это, кстати, хорошо, вечером здесь полная анархия, – сейчас здесь начинается лето, жара, они клюют носом...

– Это все, что вам удалось разведать за двадцать минут?

Ригельт вздохнул:

– Мало?

– Да уж не много.

– Молите Бога, что вы встретили меня, Штирлиц. Сидеть бы вам без меня в каталажке.

А здешние тюрьмы весьма и весьма унылы.

– Сажали?

– Рассказывал Герман Нойперт, из пятого управления, помните?

– Совершенно не помню.

– Ну, и бог с ним... Но рассказывал красочно; мокрицы, крысы; жарыща – летом, холод – зимой, совершенно не топят, еда два раза в день... Ну и, конечно, пытки, они здесь не церемонятся.

– Можно подумать, что у нас церемонились...

Ригельт пожал плечами:

– У нас никого и никогда не пытали, Штирлиц.

– Браун.

– Да будет вам, право! Тем более что в газетах про вас написано как про «Стиглиса».

«Скорцени учился в одной школе с Кальтенбруннером, – вспомнил отчего-то Штирлиц. – И сидел за одной партой с Эйхманом, друзья детства. Интересно, этот из их же компании? Ну и что, если из их? А то, что в параллельном классе учился Хёттль, вот что, – ответил себе Штирлиц. – А ему, только ему я открылся: он знает, что я был на связи с русской разведкой. Ну и что? – снова спросил он себя. – Мюллер тоже знал об этом. Кальтенбруннер повешен в Нюрнберге, Скорцени сидит в лагере, Эйхмана нет и Мюллера тоже. А где они? – спросил он себя. – Ты знаешь, где они? Ты можешь дать гарантию, что их нет в этой самой Игуасу? Остановись, – сказал себе Штирлиц, – ты испугался, мне стыдно за тебя. Ну и что, допусти я возможность того, что Эйхман встретит меня в аэропорту? К тому, что тебя могут шлепнуть, ты был готов все двадцать девять лет, что служил в разведке, так часто был готов к этому, что перестал уже пугаться; пугает то, что человеку в новинку. Хорошо, а если Мюллер? Или Эйхман вместе с этим Ригельтом – какая в конце концов разница – получают меня в свое безраздельное владение? Ну и что? Я пока что не вижу, какую они могут извлечь из этого выгоду. Месть? Нет, это уже сюжет для Александра Дюма, несерьезно. Задумывать такую комбинацию, чтобы отомстить мне? Не верю. Хорошо, а если все, что произошло за последние сутки, – сцепление

случайностей? Что если, я действительно потерял паспорт, сунул его мимо кармана? Я запутался, вот что произошло, – сказал себе Штирлиц. – А это дурно. Но выпутаться я смогу только в том случае, если хоть в малости верну былое здоровье. Выживает сильный».

– Вы голодны? – спросил Ригельт.

– Нет, – ответил Штирлиц, но, подумав, что на голодной диете силу не вернешь, от голода только дух светлеет, поинтересовался: – А что здесь можно получить? Сандвич?

– В другом конце зала есть некое подобие ресторана... Духота, мухи, но мясо хорошее, я унюхал.

– Пошли.

– И выпьем, да?

– Не буду.

– Напрасно, здесь очень хорошие вина.

– Не буду, – повторил Штирлиц. – Бурчит в животе и голова потом пустая, а это тяжело, когда несешь пустое.

– Я завидую тому, как красиво вы говорите, Браун. Где вы учились?

– На дому.

– Я спрашиваю серьезно.

– Я так же и отвечаю.

– Да будет вам!

– Что вы такой недоверчивый? Мужчины вашей комплекции должны источать доверие, открытость и абсолютное бесстрашие.

– Спасибо за совет, только я считаю, что самое выгодное – это скрывать то, чем на самом деле обладаешь.

– Может быть, не знаю. Я придерживаюсь другой точки зрения.

Все зависит от уровня, – нажал Штирлиц. – Битву вы закончили в каком звании?

– Штурмбаннфюрера.

– Тогда понятно, – кивнул Штирлиц; это разозлит его, честолюбив, значит, в чем-то откроется.

– Но, по-моему, должность адъютанта Отто Скорцени будет цениться – а в будущем особенно – значительно выше рун в петлицах. В истории остаются имена, а не звания.

– Как сказать.

– Вы спорите для того, чтобы спорить, Браун.

– Как угодно... Только книга древнего классика называлась «Жизнь двенадцати цезарей». Название, продиктованное титулом, если хотите, званием. Юлий и Август под одним корешком – и только потому, что были цезарями. Не обижайтесь, Викель, не стоит, я же сказал вам не при публике, а один на один, это не обидно, наука.

– Вы постоянно разный, Шт... Браун. Это ваша всегдашняя манера?

– Жизнь научила, – усмехнулся Штирлиц, проводив взглядом очаровательную мулатку. «Надо же так вертеть попой, а?! И это не срепетированное, это в ней от рождения: солнце, не знают холода, меньше калорий расходуют на защиту от морозов, вот все и уходит в секс».

Он снова вспомнил слова отца. Когда Правительство РСФСР переезжало в Москву, он, восемнадцатилетний тогда, отправился вместе с Дзержинским, первым; в купе набилась почти вся когорта Феликса Эдмундовича – Артузов, Бокий, Беленький, Кедров, Трифонов, Уншлихт; гоняли чай, говорили почему-то очень тихо – может быть, сказывалась конспирация последних недель, когда только начали готовиться к перемещению.

Отец должен был приехать через неделю, однако – изможденный, поседевший еще больше – он добрался до первопрестольной (это слово, вспомнившееся здесь, в аэропорту Рио-де-Жанейро, сжало сердце острым, как боль, приступом тоски) только в середине апреля и сразу же свалился. Дзержинский послал доктора Гликмана, тот отбывал с ним ссылку в Восточ-

ной Сибири, с тех пор дружили нерасторжимо, хотя Гликман был членом партии левых эсеров и далеко не все принимал в большевизме. Выслушав отца, обстукав его своими пергаментными, длинными пальцами, доктор сказал, что воспаления легких нет; обычное истощение организма, пройдет к лету, когда на базарах появится хоть какая-то зелень, прописал микстуру и откланялся.

Проводив его задумчивым взглядом, отец тогда сказал:

– Может быть, он хороший чекист и понимает в судебно-медицинской экспертизе, но врач он легкий.

– Что ты, па, он многих на ноги поставил, из тифа вытянул.

Отец покачал головой, взъерошил костистыми крестьянскими пальцами свою седую волнистую шевелюру и вздохнул:

– Он же не спросил, сколько мне лет, сын. Он дал мне на глаз семьдесят, не спорь, я сейчас так выгляжу, а мне пятьдесят четыре, и этот возраст более страшен, чем семьдесят, потому что наступает пора мужской ломки; бывшее, ежели позволишь, молодое, уходит, наступает новая пора... Вот, – он достал из-под подушки растрепанную книжку, – Иван вчера утром занес, лекции по антропологии, крайне интересно и оптимистично. Микстуру твоего доктора я пить не стану, сын, не обижайся, и упаси господь ему про это сказать, может ранить его профессиональную честь... Все верно, сын, все верно, нас живет на земле великое множество, человек-то, многие похожи друг на друга, но ведь одинаковых нет. Ни одного. Да и форма каждой личности постоянно меняется, пребывая в безостановочном развитии: от мгновения, когда оплодотворяется яйцо, становясь зародышем, плодом, ребенком, юношей, мужчиной, стариком, трупом, каждый – а в данном конкретном случае (отец прикоснулся пальцем к груди) я, Владимир Александрович Владимиров, – переходит рубеж, при котором круто изменяется форма его субстанции. А что такое изменение формы? Это, увы, изменение... отправлений. Не зная отправлений, совершающихся в нашем организме, нельзя понять суть формы человека, то есть того, что он являет собой... Я ныне являю собой человека, начинающего стареть... Я о внуках мечтаю, сын, видишь ли, штука какая... Не надо ни на что надеяться сверх меры... И не следует бояться того, что грядет: мы всегда более или менее живы, но обязательно станем мертвыми, причем опять-таки – более или менее.

«Что же я тогда ответил ему? – подумал Штирлиц. – Я сказал ему что-то обидное, мол, ты хандришь, надо начинать работать, это лучший лекарь от душевной хворобы, а папа, подмигнув мне, ответил: “Сынок, чтобы человеку нахмуриться, потребно напряжение шестидесяти четырех мускулов лица. А улыбка требует работы всего тринадцати. Не расходуй себя попусту, экономь силы, пожалуйста, почаще улыбайся, даже если ты с чем-то не согласен”.

– Не думаете ли вы, что штандартенфюрер ближе к цезарю, чем я? – усмехнулся Ригельт («Он что-то готовил мне в ответ, – понял Штирлиц, – я крепко задел его, он сейчас отомстит»). – Ошибаетесь. Наши с вами звания – чем выше, тем громче – преданы анафеме, «проклятые черные СС». А Скорцени всегда был зеленым СС, а их приравнивали к вермахту...

– Кто?

– Союзники.

– Русские?

– Ах, перестаньте вы об этих русских, Шт... Браун! Американцы уже собрали в лагерях – прекрасные домики в Аллендорфе, Кенигштайне и Оберзукле – начальника генерального штаба Гальдера, Гудериана, Цейтлера, их заместителя генерала Блюментритта, генералов Хойзингера, Шпейделя, Варлимгата, Мантейфеля, да не перечить всех, и засадили за подписание истории Второй мировой войны. Имя Скорцени в такого рода истории будет присутствовать, а вот звание «штандартенфюрер» даже и не упомянут.

«Ах вот как, – подумал Штирлиц. – Уже собрали голубчиков? Всех под одну крышу. Оправдали вермахт и предложили генералам Гитлера писать историю боев... Каких только?»

Минувших? Или делают прикидки на будущее? Он не имел права говорить мне об этом. Но сказал. Что ж, запомним: открывается на честолюбии. А эта информация – если она достоверна – многого стоит... Голубки воркуют, занимаются историей, а по ним петля плачет...»

Ригельт предложил Штирлицу сесть, – по счастью, был свободен столик возле двери, тянуло хоть какой-то прохладой; как можно переносить такую жару? «Я вспоминаю отца всю сегодняшнюю ночь и начавшийся день не зря, он всегда является мне как спасение, он никогда не унывал, он размышлял со мной вслух, и я поныне нахожу в его словах то, что мне именно сейчас и необходимо найти, надо только настроиться на старика, понять, на что он намекает, он же никогда не говорил директивно, он всегда **наталкивал** на размышление, дав отправные точки отсчета в поиске ответа на то, что меня тревожило. И тревожит».

– У них нет меню на каждый стол, Браун. Но я уже все посмотрел: прекрасный стэйк, это тут делают отменно, гуляш я бы не рекомендовал, слишком перчат, есть жареная рыба – не знаю, не пробовал, боюсь предлагать, салат из овощей и фруктов совершенно отменен, они мешают огурцы и бананы, вкус получается совершенно особенный – дынный. Кстати, знаете, евреи мажут огурцы медом, и получается вкус дыни?

– Не знал.

– Вкусно. Эйхм... Один мой друг все про них знал, про этих выроdkов...

– Не рискованно говорите?

– Вообще-то вы правы, теперь надо таиться, все-таки они на этом этапе победили.

– Именно они?

– А кто живет в Америке? Кто правит Россией? Кто всемогущ в Франции?

– В Америке живут протестанты, негры и мексиканцы, Россией правит грузин, а во Франции всемогущ Де Голль.

– Ах, перестаньте, Штирлиц, вы же прекрасно знаете, что я имею в виду их всемирную таинственную силу...

«И этот – псих, – подумал Штирлиц, – все-таки шовинизм такого рода не есть классовое выявление, это психическая патология».

– Ладно, будет об этом, – вздохнул Ригельт. – Но мы еще сломим их, мы их сломим, поверьте.

– А для этого следует хорошо подкрепиться, – улыбнулся Штирлиц. – Стэйком. И салатом из огурцов и бананов.

– Там не только огурцы и бананы, – почему-то обиженно ответил Ригельт и взмахнул рукой, подзывая официанта.

(Человек, с которым Ригельт за десять минут перед этим встретился у выхода в город, сфотографировал Штирлица портативным аппаратом и, войдя в ресторан, присел за столик рядом с тем, где сидел Штирлиц. Заказав себе ананасовый сок, кофе и сладкий кекс, он углубился в чтение газеты, ему надо было записать голос Штирлица: идентификация личности должна быть абсолютной.)

Когда Ригельт сказал, отодвинув от себя маленькую чашку, где был горьковатый, очень крепкий кофе (густой, как показалось Штирлицу, просто тягучий, до того мощный), что он расплатился, Штирлиц окончательно убедился в том, что штурмбаннфюрер его пасет, – слишком щедр, но обязательно возьмет счет у официанта, чтобы отчитаться перед тем, кто его отправил; за отчетностью в СД следили всегда в высшей мере скрупулезно.

Счета, однако, Ригельт не взял: зачем ему брать счет, когда в ИТТ, в секторе «Б» давали деньги на выполнение операции, не требуя отчета? Если конечно же речь шла о суммах, не превышающих двухсот пятидесяти долларов: экономить на малом неминуемо означает потерять в большом.

В самолетике местной авиакомпании Штирлицу сделалось плохо.

Подлетая к Игуасу, он временами терял сознание.

В местный госпиталь – крошечный, две палаты, доктора нет, только фельдшер, получивший образование в иезуитской миссии, – его привезли в ужасном состоянии; не до паспорта; человек умирает, удар по престижу как авиакомпании, так и Игуасу, стоящей как раз на границе Аргентины с Парагваем и Бразилией.

После того как фельдшер сделал Штирлицу два укола – для поддержания мышцы сердца (из-за жары здесь держали эти ампулы для иностранных охотников, приезжавших в сельву) и сильный витамин, стимулирующий улучшение обмена (на случай, если гость ослаб или началось какое-то инфекционное заболевание), Ригельт, погладив Штирлица по руке, сказал:

– Я очень сожалею, дорогой Браун... Постарайтесь уснуть, я нанял индейца, он будет все время при вас, захотите чего-нибудь, сразу же скажите, я – рядом.

## **Информация к размышлению. (Хуан Доминго Перон и Ева Дуарте)**

Судьба того или иного политика подчас зависит от событий, произошедших за много тысяч километров от того места, где он живет и действует; на задний план отступает все то, что его ранее формировало как личность; все вроде бы остается таким, каким было вчера еще, какое там вчера – за час, даже за минуту перед тем, как **произошло** то, что оказало исключительное воздействие на политика; на поверхности все может оставаться – во всяком случае, какое-то время – так, как было ранее, однако исследователям надлежит искать в документах, прессе, дневниках, воспоминаниях сподвижников мельчайшие симптомы того изменения, которое может оказаться если и не кардинальным, то весьма существенным; лишь это позволяет объективному историку анализировать того или иного лидера не в одном, что всегда легко, но в нескольких пересекающихся измерениях.

Именно такого рода событиями, оказавшими громадное влияние на политическое реноме Хуана Доминго Перона, следует считать как битву под Курском, так и блистательную Берлинскую операцию маршала Жукова.

Чтобы это утверждение не было голословным, необходимо оперировать фактами.

(Они – отнюдь не прямые, но косвенные – появились в Аргентине после свержения военной хунты и прихода к власти демократического правительства, разрешившего публикацию ряда документов и брошюр, которые ранее были запрещены к печати.)

...Что наложило главный отпечаток на личность Хуана Перона?

Видимо, то, что он появился на свет в маленьком селении Лобос, в ста километрах к юго-востоку от столицы, как «натуральный ребенок», то есть незаконнорожденный. Клеймо «ихо натураль» в стране клерикалов было в глазах маленькой деревни позорным, тем более что мать его была «сельская девушка» – креолка с сильной примесью индейской крови. Впрочем, дед, Томас Перон, известный врач, был одно время членом Национальной комиссии здравоохранения, сенатором, личностью достаточно популярной в стране, но умер он за шесть лет до рождения внука, ставшего не просто Пероном, но создателем одной из самых мощных – и поныне – политических партий в Аргентине.

Сын выдающегося доктора и был отцом Хуана Доминго, но отцом, как говорят здесь, незаконным.

Именно поэтому мальчик сызмальства нарабатывал в себе силу, чтобы отомстить обидчикам, дразнившим его унижительным прозвищем «натураль». Там, в Лобосе, он начал вместе с пеопами, в поле, во время выпаса табунов, пить матэ<sup>17</sup> и воображать себя членом бандитской шайки легендарного силача и защитника бедняков Хуана Морейры – некоего аргентинского Робин Гуда.

Когда семья переселилась в Патагонию, на легендарную Огненную Землю, никто уже не бросал обидное слово в лицо мальчика – он был достаточно силен, умел за себя постоять. Оттуда он отправился в столицу, и в девятьсот одиннадцатом году, когда ему исполнилось шестнадцать, надел форму кадета. Как и в других странах юга континента, ведущие преподаватели военных училищ были немцами; изучал немецкую военную доктрину; преподаватели – ненавязчиво, исподволь – прививали ученикам немецкий стиль, причем проявлялся он во всем: в отношении друг к другу («Моя честь – это моя верность»), и в манере поведения на

---

<sup>17</sup> Матэ – ароматный аргентинский чай.

улицах («Я – профессионал, я – человек армии, меня не интересует толпа, я служу только правительству»), и в отношении к самому себе («Я есть сила»).

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.